



«Непосредственность и смысл не получают доверия у героини текстов Ермошиной, скомпонованных как бы единственным блоком рефлексирующего импульса. Тогда анализ прошедшего заменяется вопрошанием к различным нюансам настоящего переживания: а существует ли вообще слово, способное что-либо передать? Обнаженное действие менее ценно, чем попытка схватывания слова-языка... Память предпочтительнее не только отвратительной истинности, но и неющей преодолеть умозрительные горизонты искренности, которая не может быть присвоена героиней-писательницей, как и Бытие, как материя языка. Непонимание в такой же степени трепетно, как и разоблаченное понимание».

Александр Курский

«Она собирает травы речи: ключицы воды, леворукие сны, лица, просыпанные, как мука, снежок жалобы, песок обид. Немного сухой, перетертой в ладонях змеиной кожи, щепоть огня... Ее письмо похоже на лист, которым играет ветер, — то опустит на землю, то подхватит и вновь перекладывает в небе из руки в руку. От кого письмо? Нет адреса, оборван. Кому? И этого края нет. Клочок письма с оборванными краями. Но оно, пока ты стишь, прижалось к твоему окну, скользит по стеклу, пропустя буквы».

Сергей Соловьев

«“Нить”, “полотно”, “веретено” — это, конечно, и “нить судьбы”, выпрядаемая Парками, и то полотно, которое “натрудил в морях” корабль Одиссея. Но в отличие от хрестоматийного героя лирический герой Ермошиной не возвратится домой “пространством и временем полный”. Возвращаясь, он не столько приобретает, сколько теряет, поскольку нельзя же вправду считать приобретением “песок в пальцах дверных”. И дело даже не в том, “тот ли дognал тебя дом и тот ли оставил”, — возвращение в принципе невозможно, поскольку возвращаться некуда».

Мария Галина

«Стихи Галины Ермошиной — подвижные создания, гибкость ее языка скользит от одной строчки к другой с несомненным изяществом».

Мишель Мерфи

«Междусою стихами и прозой Галины Ермошиной нет четкой границы; собственно, ее прозаические миниатюры связаны с традицией стихопрозы, которая очень развита во франкоязычной (от Алоизиуса Бертрана до Сен-Жон Перса) и англоязычной литературе, но почти отсутствует в русской. Главная задача такой стихопрозы — взломать привычные правила поэтического языка, “пробуждая на вкус каждую букву”, и тем самым — освободить сознание пишущего и читающего. Чтение прозы Ермошиной — трудный, но увлекательный побег из повседневности в мир, где, как в сказке Андерсена, буря перевесила вывески: буря — сила метафоры. Метафора меняет местами имена, связанные с разными типами ощущений — зрительных, вестибулярных, тактильных — и создает мир, в котором хочется заново научиться жить. В нем даже “боль — это расстояние до острова, на котором тебя ждут”».

Илья Кукулин

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР



Москва
НАУКА
2007

Галина Ермошина

ОКЛИК НЕБЫВШЕГО ВРЕМЕНИ

РУССКАЯ
ГУЛАГИ В Р

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Е74

Серия «*Русский Гулливер*»

Основана в 2005 году

Руководитель проекта Вадим Месяц

Главный редактор серии Александр Давыдов

Оформление Владимира Сулягина

Ермошина Г.

Оклик небывшего времени / Галина Ермошина. — М. : Наука, 2007. — 191 с. — (Русский Гулливер). — ISBN 978-5-02-035688-7

Лирико-психологическая проза, исследующая сложность межличностных отношений, восприятие предметов в контексте культуры. Приемы письма или дневника используются не для самовыражения, а для построения диалога. Автор развивает традиции Мандельштама и Елены Гуро, взаимодействует с современной американской поэтической прозой. Отрывки из книги публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Октябрь», в альманахе «Фигуры речи», в антологиях малой прозы и «Crossing Centuries» в переводе на английский, а также в журнале «Shilin» в переводе на китайский.

ISBN 978-5-02-035688-7

© Ермошина Г., 2007
© Сулягин В., оформление, 2007
© Центр современной литературы и
издательство «Наука», серия «Русский
Гулливер» (разработка, оформление),
2005 (год основания), 2007

лестницы слова

LETTER

A. Г.

1

Письмо — такое событие, что разговор происходит между. Две зимы, расходясь, расходуются от центра, края соприкасаются, внутри — воздух. Это как способ подумать о другом, даже не оклик, а взгляд. Рассказ молчания о пути к нему, где можно обойтись без условий.

Клетчатый листок. Ну что ему стоит побывать в воде, откуда иначе зеленоватый след, складывающийся в буквы. Стола не хватает, когда растечется вечером.

Письмо состоит из промежутков между словами — тот воздух, из которого и берется. Безнадежные и легкие прогулки, шаги по городу, висящие в воздухе дворы и перила, уходящие в воду, а дальше — звонок в твою пустую квартиру, предметы удивленно замолкают. Такое жаркое лето.

Есть любимые города, где было хорошо просто так, потому что ветер или желтые цветы акаций, где зимние воротники окружают водокачку. Зависть ли это или хрупкость? Но легкий мост с другого берега — вся та незавершенность и открытость, что уместилась в скобках. Так совмещается время — перелет бабочки, взмах ресницы, и не выдумать тот почтовый ящик, где сквозь отверстия высвечивается солнечный лучик. Когда не хватает другого мира (знания о внешнем и несущественном) — легче, идя на поводу у воображения, досоздать нехватавшее только за счет самого себя. Столкновение с реальностью вымывает те воздушные легкие зерна, что конденсируют невесомость. Протяженность речи, связанная не со временем, расходуемым на написание и прохождение, а прихода — письма, не может быть остановлена потом уже никакими силами. Голос начинает звучать, меняя интонацию, и больше зависит от погоды за окном, чем от знания.

А лестницы есть везде, где их хочется увидеть. Они ведут к дверям в виде капли, собирающейся упасть, но раздумавшей и висящей вместе с лестницей. Так бывает всегда, когда слова собираются вместе, не тревожась о смысле и знаках, и выбирают свою дорогу, не со жалея и не указывая. Лишь карандаш знает об этом пути, поэтому так странно сменяется цвет, будто опять не хватило чернил.

Так и слова: приходят почти ниоткуда, и хочется думать, что уходят туда же, чтобы потом незаметно появиться в письме из другого города.

Какие-то тайные родники появляются из прочитанных книг, чтобы потом неявно пробиться в разговоре коротким словом, вспышкой, отражением глазного дна. Такое родство приходит и из тех вещей, что становятся общими, как и слова, живущие в них. Глаза обращаются внутрь, изменяя мир, — не помешать увидеть. Так и узнавание не всегда значит знание и понимание, а лишь воспоминание, припоминание, выход из забытья.

Может быть, не как извинение за опоздание (да и можно ли здесь опоздать, если время ничего не значит, исчезает и начинается только с приходом письма), а как продолжение диалога о невозможности обиды или жалости — все происходит только в глазах, до-времени, в пространстве, умещаемом конвертом. А то, что сверх — как дар, коричневая отметка о наводнении, затопившем по горло. Может быть, то, что называется осенью, спряталось в стволы и холодный ветер просто не может пробраться мимо, чтобы не залезть в кольца березовых веток и не проверить их на отсутствие родственных воздушных жителей. Так и ходит от дерева к дереву, забыв о снежных облаках и понижении температуры. И все-таки, болезнь — это благо, хотя бы в том, что не заставляет выбирать, а предлагает следовать за ней, сама определяя и путь, и поворот назад. Усталость — торопливый наркоз, оправдывает сонные мысли и прерывистость. Так проявляется любимое занятие — следовать за карандашом — куда уж приведет. Это как ключ, данный в руки, которым грех не воспользоваться.

Рука на лбу — лишь повод для узнавания сна. Зима бережет лучше, и вода укажет путь, стекая. А правил на самом деле нет, кто их может придумать, если дороги еще не было, пока не появилось

письмо. Любой шаг будет вне правил, куда бы он ни был направлен. Это след, оставленный на воде. Только так и происходит небывшее. Ну как же еще можно сказать слово «благодарность», не называя его. Сны совпадают со временем, когда легкая синяя мышь скребется у виска, зарываясь в травяную подушку.

Чтение с любого места, начало пути с любого шага, слово с любой буквы, оказавшейся под рукой. Ничего не может помешать, время просто исчезает и где-то копится для того самого долгого и неспешного разговора. Таким может быть только доверие, обходясь без. Даже не ответ, а момент взгляда, грея пальцы у настольной лампы.

Настороженность вещей увлекает за стеклянные перегородки, касание куда-то прячется и уход дня не означает прощание, а начало нового времени суток, предметы позволяют сумеркам растворить себя. Им не больно. Оболочка — лишь условность, условие этого мира, а там, где живет небывшее, все происходит наперекор логике.

Ничто не может отменить другого. Тень ничего не закрывает, и ночь только позволяет, не обещая и не придумывая отсрочек для более долгого времени.

Никто не тянется взглядом, и карандашу хорошо и просторно заглядывать во все уголки листа. Возраст уменьшается, с ним становится легко и весело, он притворяется непрочитанной книгой и летучим призраком города, который можно вытащить из любого сна. Шершавые рукава поделятся известкой и водой. Летом расстояния между минутами становятся длиннее, а время уменьшается и остается несущественным.

Посещение городов — как вечерняя прогулка. Остановка взгляда может быть произвольной, и безразлично, с чего начинать ответ — с ответа или со слова. Строчки легко перепрыгивают свой порядок, и часы заблудились в пустой комнате со свернутым ковром. Страницы потеряли свои номера, и читать их стало просто и легко, придумывая свое продолжение. Здесь не объяснение — это такой свет, полоска из-за двери. Скажешь — вода — придет, обхватит у висков — не отпустит — да и сам не захочешь уйти — сквозь зеленую глубину — тень придавлена подводным горячим камнем.

Все и будет ответом, вопросы — тоже, забегая ненадолго, оставляют речной ключик. Тень воды не пугает рыб, плывущих на уровне света вчерашнего утра. Потом придумается и придет другое слово

во — земля или камень, или воздух. Еще хорошо вспоминать горячую глину, ведь все равно остановишься на половине. Это маленький знак — когда заканчивается письмо, перегорает лампочка. Пытается ухватиться за середину и не помогает остановиться, а расшатывает знаки препинания. Только обрез листа запрещает переходить границу. Так забывают себя воздушные буквы, в летнем воздухе их набралось на новый алфавит. Письмо распространяется на предметы и вещи, зеркала, окна и ветер удваивают и уносят их к другим городам и рекам, минуя поезда, самолеты, самокаты и роликовые коньки.

* * *

Все дело в общности словаря. Дай ей волю, и она тут же, не задумываясь, вылезет в окно, хватай ее потом с бордюра, подбирай осколки на подоконнике. А словарь диктует свои условия, знакомые шутки и нелепости, удобные и привычные оговорки и шалости. Эти акварельные приручения становятся привычными уже со второй попытки. Милые кролики, рыбки, собачки, испытанные рефлексы, защищенные в горло трубочки. И что делать, если со дна этого ручного и тихого мирка выплынет осьминог, обрывая поводок причинности и связности?

А все дело в общности словаря. Когда читаешь самого себя, то письмо, приходящее вдруг оттуда, считаешь наваждением или ошибкой. А кто-то продолжает видеть только видимости и факты, печатая на слепой машинке объявления о поиске надежной и ветреной души. Опять эти павловские рефлексы и религиозные мнимости.

А все дело в календаре. Там же случаются такие растраты, что не хватает для всех окон, а выбирать — неблагодарное занятие. А кругом — двери, двери, двери, исчерканные гвоздиками обивки, калитки и ворота, железные фигурные решетки, портики и перила. А там, внизу, — река или сухой гравий, песок или сухие водоросли. И только иногда — замершая во льду рыба.

А календарь не кончается. Все исчезло из этого словаря, а новое еще не придумалось. Просто усталое ссыпалось в угол, как три недели после Нового Года. Еще чуть-чуть, и можно будет выносить, выметать и мыть пол. Тогда все опять становится просторнее и больше.

Ему очень хочется устать, чтобы успеть выспаться к утру, а ее злые коготки царапают по диванной обивке, и он не сопротивляет-

ся ее молчаливому присутствию. Дверцы шкафов уже привыкли к такой перемене — скрип дерева, только и всего — перильца, кофейные чашки, а ступенек всего девять — и ты на земле.

Снежные перемычки тянутся с островов. Там — спокойное равнодушие Финляндии и осколки моря. Знакомые будут говорить о твоем хорошем загаре, а этой зимой у тебя опять отслаивается кожа, торопясь смениться на зимнюю и тонкую. Грибную. Или ольховую. Чтобы летом ее опять порезали мальчишки.

Странное это дело — следы по снегу. Мaska волка, дом и огонь. На пальцах — белые полоски, реки оставляют след. Нас это не касается.

Темное время года. Темнее только волосы или закладки в твоей книге, где на страницу приходятся три горькие травы. Ошибки, опечатки — удивление к малиновому варенью, земляничному крапивному полю. Уют с желтыми крапинками, опережающий часы, керосиновое забытье, сон, пожар, просясьба о помохи и прощении. Ожидание тени клонит ко сну, длинная причина утреннего звонка. На будильнике — четверть седьмого. Слова что кожа. Сон проверяет ощущение детства — возникает или существует. Увиденное — рай, услышанное — пастущий рожок. К утру эта прорубь становится глубже. Почти несуществующая радость океана приблизится презрением, осядет на высокие края, делая их еще выше. И ныряешь в диванную глубину — что увиденное, по сравнению с угаданным, когда самое главное происходит во сне. А сон, эта запертая кладовка, шипит и выплескивается на плиту нелепого фрейдовского безумия.

Главное — не успеть, а остаться. Причина там, где мышь, мышеловка, мышьяк — забота о том, на ком завтра утром лаборант будет ставить опыт. Бабочка или человек — вечное сомнение китайца не мучит его. Он знает, что, проснувшись, не вспомнит своего сна. Может, это и помогает ему не сойти с ума.

* * *

В это время зеркала начинали отражать только четные дни. Они наступали неожиданно и сразу же заканчивались, стоило лишь закрыть окна. По всему дому переставляли мебель на дождливое время, и только трюмо в старой спальне было забыто — над ним крыша обросла громоотводом. Ночью волосы шептались, и казалось, навязывали свои сны открытым глазам. Считалось, что в эти дни не положено заходить в комнаты, расположенные на восточной стороне, и по слою пыли случайный гость мог определить, что они на-

ступили. За столом всегда оказывалось, что не хватает одной из чайных ложек, и кто-нибудь уходил на поиски. Это означало, что вос точный ветер уже приближается, и черепица знает о нем. Ставни раскачивали последние гвозди, удерживающие крючки в стенах, и воздух все чаще захлопывал двери после того, как наступало молчание. Однажды один из гостей заметил, что зеркала перестали улыбаться в ответ на шутку, и с тех пор в доме перестали говорить о печальном. По-прежнему исчезали одни вещи и появлялись другие, о которых все уже успели забыть. И хозяйка не закрывала двери, чтобы отражения смогли найти своего отсутствующего владельца. Тени все время уменьшались, и никто не следил, чтобы они соответствовали предмету. Да и сами они теперь не различали свет дня и тьму ночи и беспорядочно перекатывались из комнаты в комнату, пока кто-нибудь не закрывал дверь.

Сны приходили и уходили по желанию постояльцев, часто перепутывались и скоро перестали различать спящих и бодрствующих — снились вещам, призракам и теням. Часы показывали смену ветров уже неделю, и все ожидали, что вот-вот наступит следующий календарь. Но время длилось, и продолжительность его была успешной.

* * *

Сущность мыши — ход в слове, саде, соли, свисте («а теперь пришел к нему пуговицу»), сне.

Вечер переходит в ночь. Днем получается сухе, логичнее и прямее. День выпрямляет, ночь сглаживает, оставляя только очертания. Легко спутать и назвать не тем именем. Ночью больше прирастает смысла. Даже речь кругла и радостна. Крапинки сна на ладонях. Решетка сада. Взгляд поверх. Граница там, где нет дня. Ночь учит, утро повторяет. Голос удваивается на середине речи, приходит коридором. По снегу. Как теряется год, расходясь на непонимание. Карандаш спасает резинка, лучшее зачеркивание — когда можно разобрать помешавшие домашние слова. Вот так и растет смысл. Вещи приходят, заполняют время, стол пуст — только часы. Лето удваивается в языке стрижей. Железо и дерево — так город приручает своих жителей. Крыши притягивают полет, окна его прерывают. Не хватает слова, обращения, называния, имени, наконец, чтобы все встало на свои места. Вечерний вечер думает, что так оно и было. Снег отдает больше, чем море, а сущности мыши нет. День торопит. Овидий просыпается, жалобное потягивание. Не надо смотреть его сон. Он сам.

утраченный алфавит

TIME-OUT

*

Светлая арабская цифра. Произношение сохранено алфавитными скобками нотных знаков. Временная отмена смыает материик вместе с царапинами в эмульсионном слое кадра. Рассеянный пастор освобождает нашу отвлеченность. Его движения точны и аккуратны, как сопроводительная надпись на коробке активированного угля.

*

Каприз или причуда. Семенные коробочки мака на попечении копировальной бумаги муравейника. Твой голос уверенно флиртует где-то на уровне поднятой руки.

Это уводит за собой, похищает, захватывает. Их враждебные действия невыносимы. «Не злись так!» — приходится доказывать свою правоту оконному проему.

Предположим, что компас предъявит свое обвинение, вычислит легкомысленность того гипсового слепка. Тогда и не удастся увернуться от бесцеремонности сравнительного реестра.

*

Наша уверенность, изложенная на хлопковой белизне. Испаряющееся смущение, приближение, близость. Желание деликатно, как распознавание болезни. Преследование гончарной неловкости. Эротическое заблуждение размывает бесполезное поручение. Задыхающееся продолжение обречено на предусмотрительность запятых. Греческая непринужденность. Покорность. Исчезновение. Изумленное пространство бездействия.

*

Плавник руки, пустяк тонкой иглы намагничивает кожу. Твоя бескоризненная подруга — невозмутимая пристальность, стреми-

тельный ожог. Неумелая уступчивость очертания, пустая формальность, предлог откровенности. Обрамление ее готовности — щедрая привилегия присутствия, паводок оконного переплета, разбросанная легкомысленность уверенности.

Застенчивая изначальность длит ледяные узоры, ее граница обращена к молниеносному совершенству. Мне остается тщетная неясность, слишком скованная раздражением, и бесцельное опровержение великолушной и щедрой бестактности.

*

Мираж гrimирует невнятную пустынную оболочку. Ее головокружительный дар — золоченая насмешка, кристаллический озоб дрожащего сверкания. Мы застеклены этим глазастым проблеском, чье тусклое возбуждение скользит по нашим беспрепятственным телам. Твое умелое возмещение отсрочки, роскошная непристойность и небрежная уклончивость — всего лишь восхитительное доказательство легковерной неопытности. И моя мистификация определяет тебя не дальше тех пределов досягаемости, что ограничены всемирным тяготением, приближением гравитации, лишь слегка оцарапавшей кожу.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО

Избыток хлорофилла — лужайка, газон, сенокосное поле, саранча. Наперекор гравию дорожек, их способу тайного сообщения — совершенно по-гречески обманывать виноградную устойчивость грунта.

Фруктовая лавка, обида, жалоба, пшеничная лепешка — отточенное подношение серебряной монеты. Крупный песчаник, необожженный кирпич — вот повод горевать. Они одобрительно улыбаются, тщательные и условные, охраняя кармин, охру и грунтовые воды, защищенные жалостью.

ОКНО НАД ДВЕРЬЮ

Наша гарантia — небольшой айсберг, с виноватым видом тающий возле горла. Свернутый спиралью обычай кромсает волосянную линию зимнего семестра. Часовой механизм перетекает в рассерженный справочник. Он опять замешкался, отыскивая миндальную карамель мяты лепешки сквозь прочную жесткость воды.

Опрометчивое полнолуние перед осенним равноденствием поворачивает засов возле решетки безобидного собирателя урожая. Его обычная забота — косить траву и сушить сено, определяя промежуток времени между оконным бруском и необременительным неловким катафалком, ежедневно следующим в назначеннное место мимо огороженной кромки домашнего спокойствия.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Мы выбрали вращение. Скорость опоздания зависла горизонтально, наткнувшись на изморозь вглубь от границы. Нас окликнули в пустоту, подмешав в кровь наркотик. Продолжающаяся радиоактивность слишком застенчива, чтобы поспешно швыряться болью. Идеальный гипноз, подлинный идол, недозволенная метафора пренебрежения — часть неразборчивой высокомерной иллюзии. Безупречность освобождения позволяет нам безнаказанно соединять полуденную петлю бегства и ртутную метрику своеволия. Наши губы наталкиваются на металлическую классификацию неизвестности, старательное огорчение безопасности.

Неудачная перспектива изгоняет произнесенное родство, и мы снова выбираем пульсирующую неизбежную близость.

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Если бы можно было отказаться от конкретного знания, уклоняясь от понимания и доверия. Возможность быть избавленным от необходимости описывать каждый свой день — от поступков до событий, комментировать и читать по слогам прибывающую начальную письменность. Возможность исправления той легкости, что приходит из случайного и не умещается в простом бумажном конверте, рассказывая о пути, проделанном до тебя и к тебе. Ее безудержанное многословие — отмененная привычка молчания — будет еще долго досаждать, возвращая к одному и тому же — такова возможность словаря, принимающего безропотно все упреки и сожаления. Прозрачная дистанция удерживает и не позволяет правильности сократиться. Да и захочет ли теперь расстояние быть короче, или медленней, или стать правильнее речи, или искусственней освещения. Простые вещи, вроде опасности или осторожности, оказываются недоступными и молча отражаются во всей зимней воде,

во всех дышащих полыньях, укрепляя речные откосы своим непрочным льдом.

Разное утро теперь наступает после общей ночной радости. Кто успеет прочитать записку, сложенную домиком, бабочкой, мышью. Их бумажные фигурки дождались источенного зыбкого края — отрезанное время бросает им веревку, или нитку, или бусину — способ обознаться и придумать себе другое имя, чтобы ночной посетитель, вернувшись, застал в этой комнате только свое стеклянное отражение.

* * *

Карнавальные мышки, золотые дождики, фигурные тарелки, черноглазые осы. Там завернулись в свои черные передники испуганные трубачи. Громкие шорохи, шуршащие безделушки прислушиваются к печному разноцветному произношению.

Спокойствие иголок разыскивает обнаженное место выше рука-ва, чтобы отдать свое благополучие удивленной ссадине кожи. Утром их нужно только прополоскать в высоко поднявшейся воде. Не уставая, пишет она ежедневные корневые слова, так странно звучащие в обметанном горле принтера. Пробелы сопротивляются, и голос становится все неразборчивей, повторяя одни и те же угольные или сахарные буквенные очертания, распределяя себя осторожным и бережным. Теперь возвращаются непричастные, запоминая дорогу, изложенную в сентябрьской книге лиственных падежей. Узелковая память воды сторожит безропотную пустоту оконных ограничений. Местность переворачивается после попытки вздрогивания, когда светлые рыбы поплынут к зимнему водопаду, не дожидаясь разрешения или согласия. Земля молчит, собирая в глубине все каменные улики треснувшего колокольного огорчения.

* * *

Очертания множатся, выстраивают собственную вертикаль в стороне от пасмурной подножки декабря. Все падает из рук, теряется, оставляя беспомощность и жесткую картинку снежной рекламы. Праздничные зонтики, плывущие по реке, горячий укус крапивного промедления — тебя опять остановят — выступ, ограничение, предложенное на выбор к усталости черепичных окончаний.

Волосы, распахнутые к рукам, сложенная мстительность асфальтового беспокойства. Твоих усилий хватает лишь на то, чтобы перевернуть страницу и забыть о предыдущем сообщении. Горизонт разделяет твое опоздание пополам, позволяя выдернуть себя из пространства, произнесенного вполголоса. Ты успеваешь только закончить фразу, умещая ее в скобках вчерашнего ответа, заполняя тень в пределах достоверного ожидания. Там окажется всего лишь копия — статичная оболочка местности наискосок от потерянного обморока неучтенных погрешностей. Твой тающий айсберг, безупречное расположение примерных участливых осложнений, безопасное сожаление, отчетлива мнимость всех брошенных льдов и упывающихся печальных деревьев. Их спокойная отрешенность не поможет твоему убеждению и откажется от предложенной помощи, оставаясь самым безразличным и удаленным из прочитанных расстояний.

* * *

Плавятся края изученного шаткого ожидания. Нам не удастся оправдаться перед временем, проходящим вдоль позвонков в ритме обычного вдоха. Морской пейзаж теряется в прохладном обмороке глаз, и медленно расходуемое прикосновение заполняет излишek тактильной небрежности. От недоумения — к еще большей нежности. Прозрачное изумление, неизбежная бережность, причастность гибкого тростника к происходящему вне зрения, только в голосовой неразборчивости фраз, запинаясь и не останавливая перетекание взаимного узнавания.

Дрожащее ускользание измеряет сомкнутый песок, засыпающий колени, ключицы, губы, поднимающаяся мягкая вода унесет — туда, к плавникам камыша и рыб, где воздух смыкается с горизонтом. It is not love. Так живут, опираясь только на пространство, ждущее приближение, нервное противоречие, сомневающееся прихождение. Кто сможет дать тебе эту утрату, отнять размыкающуюся близость, уверить в необходимости собственного существования? Круг заполняется ветром, вытесняя гордость земли и влаги, образуя длительность, входящую к тебе отовсюду. Ты уже не сможешь собрать все, что становится твоим. Оно больше тебя и позволяет не заботиться о своем совершенстве, уводя в край осыпающихся мостов и безусловных решений.

Непрочность и изменчивость становятся твоими союзниками в задыхающейся отсрочке падежей. Двери открыты, оснований пе-

решагнуть порог больше нет. И меня останавливает стремительная пульсация чужого сожаления, сочувствия и заботы. Возможность вхождения исчерпана. Ты остаешься за пределами мнимойности и ответственности. Кто сможет сберечь, не успевая за прохладным движением чужой лингвистики, медленно захватывающей ваши губы и рты? Пальцы привыкают к смене алфавита, и, переключая регистр клавиатуры, можно не думать о происходящем рядом — в же-стах того же воздуха кто-то пропущен за опоздание, спокойно отложен для будущего времени, которого никогда не хватит на большее. Остающиеся вычеркнуты из реестра твоего превосходства. Ее линии тонки и осторожны, очерчивая пугливость и хрупкость, заучивая уверенность прикосновений, привыкая к быстрой смене нечетких очертаний. Откажись, если сможешь, от такой подробности жестов — лишь узнавание отменяет синхронную сжатость оставленного. Тебя тревожит бесполезность и ненадежность произнесенного — туда, к еще большей близости, где граница растворяется в раскрытом широке сброшенной одежды. Теперь все сокращается до точки, продолжающей стремительное движение заклинившей клавиши. Каждое повторение избавляет от весомости горчащего груза, заполняя неотчетливое и растекающееся. Исчезновение. Крамольный речевой поток неостановим. Ты не думаешь о правильности или погрешности, выбирая то, что раскручивает спираль взаимного влечения. Ничто не защищено, добровольное умелое согласие убеждает в своей неизбежности. Не остановить. Только принимать, избегая ясного и прямого ответа. Дальше — раскрытая темнота уходящего влажного имени в растущем интервале пропущенной паузы.

* * *

Открытость. Белизна. Солнечная акклиматизация бьющего воздуха. Опора — в ритме, превосходящем дневные заботы. Грамота красных и черных ягод управляет письмом. Края ровного открытия, сомнение и прилежание. Зачем здесь это неуклюжее бормотание пчелиного соответствия? Разговор с пустотой одичавшего пространства, отвыкшего от ограничений своей беспечности. Незаполненное течение. Ускользание. Смысл расстояний утрачивает избегающую середину. Улыбка лунного исчезновения. Гибкая проницательность. Сеть тянется в открытом голубом. Диалог в интервале серебряной монеты дублирует наклонный чертеж древесного сообщения. Листает страницы крашеной извести. Ты, притворщик,

лжец, убежище возражений, отвергающий избыток окраин. Всплеск, обнаруженный только в согласном звучании окончательной ориентации. Внимательный контраст полнолуния.

* * *

Ветер царапин. Голод стекла раскрывает отверстия, повисшие внутри каждого взгляда. Там, внизу, их сопровождает темный покой фортельяно, пунктир западающей клавиши, горькое сомнение бегущего по кругу. Вздох руки, слепое соучастие. С них вертикаль начинает свой разделительный промежуток. Пробел сквозь пульсацию. Внутри зрачков — продолжение отрицательного электричества. Молния прячет свой зигзаг в грунт, перемешивая слои мертвой почвы. Мы наклоняемся к своим пещерным амулетам, разрезая наши ладони сверкающими краями свободных ограничений. Лишние молчание многоточия рассыпаны по обводам двойного дна. Bottom? Cry? Dream? Вода смешала голос воздуха. Мы отгорожены плавающими лезвиями осторожности. Замешательство и восторг — проблема незнакомых оговорок утраченного ритма. Скомканый простор окна. Из него негромко протянутый сквозняк собирает дрожащие опилки сухого металлического щелчка.

* * *

Открытые глаза воды. Пространство захлопнулось. Простое равновесие солнечных лестниц. Твои рекомендации сочиняют извилистую связь лопнувшего дня. Кричащий ветер. Безразличные упреки. Музыка, расшвыривающая вспышки затмения внутри проволочных колец. Насквозь. В глубину невидимого соответствия кровяного эквивалента. Мимо. К гулкой радости чуткого соляного источника на щедрой поверхности твоих вычислений.

В ПРЕДЕЛАХ РЕЧИ

to I

*

Ожидание не равно ожиданию. Оно входит в сон и умолкает, повторив, проговорив на ночь все свои дела. Сновидение открывает дверь в созданное препятствие праздной жизни — место, подготовленное временем для длящегося пространства в твоем воображении.

Речь способна заместить говорящего, только если он безразличен к собеседнику. Наша игра — увлекательное ускользание, скольжение по краю, неожиданное возвращение в ритм фейерверка или благородной серьезности. Ты окажешься там, где тебя не станут прочитывать, а лишь угадывать, опираясь на ориентиры и полутона неярко окрашенной речи. Твоя импульсивность неосторожна, как пролитое молоко. Острота лезвия между нами стремительно меняет обращенность друг к другу в параллельных пространствах недоговоренности. Замедли торопящееся событие, закрой глаза и вспомни о способе подумать о другом, как о взгляде. Когда рука оставляет или остается, используя дозволенное сверх возможности и прочности, остается только истолкование в лучшую сторону всего, что хотелось. Дай ему возможность заполнить лестничную неизбежность зависания в воздухе между двух встретившихся речевых оговорок или неточностей компьютерных кодировок. Так тесен словарь, ты находишь то слово — ту клинописную азбуку чужого алфавита, которая скажет все недостающие — нedaющиеся времена.

Голос бледнеет, истончается. Мед и молоко отступают глубже к таким твоим снам. Ты проснешься утром и ничего не вспомнишь. Лишь расстояние зависнет между столом и воздухом окна — вот почему сопротивляется походка — вечер устраивает очередную засаду и ждет, когда ты отправишься спать, чтобы пропустить мое нечаянное посещение.

*

Что еще сможем друг другу дать — только говорить на одном языке. Даже вид из окна сближает эту местность с Подмосковьем, где растут одни и те же ветреницы. Так постепенно истончается пространство, позволяя пропускать не только свет и тепло, но и прикосновение — сначала случайное, потом осторожное и недоверчивое, но никогда — уверенное или слишком много знающее. Иначе — моментальное отдергивание руки от стремительно леденеющей поверхности. Исцеляющая возможность речи, возвращающая, соединяющая, оклик в этом общем воздухе, пригодном не только для дыхания. Возможность всего обещает и не просит заботиться о большем. Наступающее время с легкостью меняет координаты прошедшего, не желая угадывать или расставлять недостающие знаки препинания. Может быть, оно поставит ударения совсем не на тот слог, слово, предложение, запутавшись в неизбежности русского синтаксиса.

*

Твой дождь не помещается в моих ладонях. И между ними сейчас искусственное освещение неповоротливых бронзовых ламп. Подземная пчела, иголка, укол, лучистый груз, праздник беспокойства. Буквенная опечатка, что помогла сменить графику библейского имени на короткое дыхание — нечаянный вздох японского иероглифа. Заглавие, уместившееся в скобках. Как нечестно добытое сокровище, притворство, выдуманный папоротник, дерзкая кража. Отсутствие, неотменяемое прощение, что просит не соблюдать установленные кем-то границы и пределы. Все расходуется совсем не так, как предполагалось когда-то, утрачивая невозможность испуга, приближения и спокойного понимания вне придуманных схем. Город горчит, выплеснутый порошок уже не сможет помочь выздоравливающему. И шестизначный часовой всех телефонных страж отворачивается от не замеченной кем-то уловки и позволяет недозволенное.

*

Город раздувается, пытается шипеть водой сквозь песок, расходясь вдоль и мимо, украдкой уводя за собой детей — медленно и неощутимо поднимающейся водой, доходящей до горла и стягивающей одежду, что отпускает руки. Прижатые камешками крылья — способ стряхивать слюдяные крошки с крыш или окон, ориентированных на орнамент восточной протяженности гласных.

Размер производимых зачеркиваний — лучший пример незавершенности. Открытость — радость — возможность — действие отменяет себя — продолжение слова как оправдание жеста. Неизбежность словаря.

Письмо, написанное водой, стирается в памяти песка, минуя клавишу «*delete*», а в корзинке оказываются только мокрые яблоки — как необходимый пунктиир — водяная азбука распадения, украденная у союзов и деепричастий.

Просыпаясь со вкусом вишен — стряхивая блестящее скользжение — не отводи руки — расколотая разница между «я люблю» и «я тоже». Пристальное внимание крыш — прочитанная белизна — когда испаряются буквы с листа, застигнутые оборотом страницы. Их правильное произношение торопит, закрывая горизонт зубчатой городской линией, заполняя пространство песочных часов водяными рассказами, что скопились внутри тела ужа — сбегая — от расшифровки к пробелам — пугаться обилию глаголов, связывать

волосы ленточкой, прикалывать японской шпилькой бабочек к кустам можжевельника, подаренного для простого языческого действия, чтобы забыть его потом на подоконнике ближнего к дому окна, не ожидая, когда он засохнет, приклеенный к банке с солью, — в личную радость домового.

*

Статичное убывание возле корней. Свет синей бумаги раскрашивает воздух в пределах своей открытости. Не осень, только три шага вдоль ограды к проему католической калитки — вровень с глазами крыши сквозь другое, приступающее теперь в снах — утренний шершавый голос — мягкое искушение набрать номер — разбудить — услышать — закрыть дверь за —

Голос, который исчезает при приближении, близость, отталкивающая слова. Непроснувшийся, он становится звонче, когда перевернуты песочные часы. С чем его сравнить — шуршание песка, перетекающего из одной сферы в другую? Остается одно из несбыточных желаний — услышать его еще раз.

Краткое продолжение начала — принятая невозможность ускользнуть — совместное скольжение по краям, выбор — ближе, это когда шепот — расстояние сможет стать горизонталью? — по темному — теплому — внутрь прикосновения — осторожность, прочитанная по губам — не ответ — там, где вместе — самая длительная подробность в пальцах — между или ближе? — в глубь неразличения — камень-мышь и камень-змея — их нет, когда идет дождь — и капелька черемуховой настойки, чтобы чуть-чуть сойти с ума —

ЛОЦИИ НА СТЕКЛЕ

*

Бенгальская струя воздуха соединяет геометрию в форме звезды. Не увильнешь, не выкрутишься. Океан пуст, будто кто-то уложил его спать. Следя логике многоструйных фонтанов, красный кровяной шарик должен обойтись без минимальной поддержки сферического зодиака. Сложно уклониться от его навязанной доброжелательности и не быть третьим лицом, предметом всеобщего увлечения. Послушная любезность его бесконечного вычитания дробит нашу уравновешенную земляную основу. Сможем ли мы сказать «люблю» этому дразнящему идолу, этой ночной стороне ночи?

*

Искусство измерения времени зависит от плотности полотна и толщины шрифта, на который указывает цитата из Библии. Немногословная малярия контролирует наши перемещения с помощью книжных закладок. Чайный, черепичный, сквозной — мишень, обжигающая кожу, прилежный tandem вибрации сквозь наведенную резкость. Ассирийская жесткость удерживается якорем географического атласа наперекор возмущенной плотности грунта.

*

Нескончаемые параграфы правил и условий. Вертикальный диалект, пренебрегающий многоголосьем лексикона, предпочитает электронный протест оптической пустоты. Смотри, как огонь глотает виноградник, равнодушный к мольбам и бранни. Его электрический разряд ошибся, задевая зрительный нерв постороннего укрепления. Герметичный статист, он играет свою роль молчанием, полный до краев. Разделительная стена блуждает по верхнему ярусу древесного уровня, деформирует тонкий слой изношенной пустоты. Наша расточительность изматывает ландшафт, отвергнутый лабиринтом переходов.

* * *

Когда звуки убегающей речи расчерчивают скомканное небо внутри белизны по обеим сторонам дороги. Свет обрывается в самой середине заученной фразы, заставляя глотать темноту, затягивающую в каждый из разломов и смутных трещин мраморного презрения. Теперь его спящая неподвижность пытается сложить из пылающих обломков громкие просторные времена. Оступаясь, вниз — к бездонности дрожащих пауз. Нетвердость и текучесть. Обманывая круглые холмы, заплетать двенадцать черных косичек. Поперек и сквозь этот неровный воздух, держа за спиной в кулаке обратный билет, примирающий пыль и воду глубокого гранитного пьедестала.

* * *

Блеск и страх. Вибрация стального числа. Какой приказ ты услышь из глубины ее обморока. Осы вытягивают линию горизонта, добираясь до противоположной стороны. Чей красный цвет требует ваших глаз? Вращает морские ракушки главный строитель осторожных шагов, что спрятали острова. Держи на вытянутых руках

стальной шар, разглядывая свое блестящее острое отражение. Не ты ли звал ее? Теперь твоя очередь задавать вопрос. Сколько лет яблоко падает, не успевая коснуться травы, почвы, грунта?

* * *

Пыльные слова воскресенья. Включи его свет: forever. На влажных простынях отпечаталась Африка твоего позвоночника. Здесь теперь подозрительна подпись. Ее долго разглядывали в лупу, отказавшись от неправильности числа. Хронология беззвучна. Вы долго пытаетесь произнести все имена времени. Спящее перечисление. Здесь не принято быть одному, и ты следуешь этому истекающему разрезу, приобретая второе «да», которое скользит рядом с телефонным окликом. Позволяя вмешаться контрасту. Скорость утренних слов остановилась на возрасте «двадцать два». И к этому названию каждый день прикрепляют слово «вернуться». Every night. Copyright.

ГРАВИРОВКА НА ВРЕМЕНИ

*

Тонкая ткань болтовни составляет список шлифовальных кругов ударений. Хрупкая эмаль обнажает развилики и трещины скрытой грифельной корректуры. Короткое пребывание паузы вне голосовых аргументов вычитает искаженный профиль диафрагмы. Сомнительны наши попытки подражания — как бы упрекая барабанные перепонки все более крупными литерами известной истории.

Горизонтальное сверкание полюса беспечности. Поворот насмешки в мерцающее искажение. Мгновенный изгиб кружашейся предусмотрительности. Застежка, грамматика, крипта — едкая болезнь геометрического равновесия. Погружает в нерасшифрованный лабиринт клеверного тоннеля. Мы склоняемся к тактильному произношению, испытывая чрезмерную поспешность, и текучесть металла стенографирует вспышки бессвязного передвижения.

Крапивник, волчья шкура, внутренняя сторона желания, всегда остающаяся недостигаемой.

*

Уклончивое сожаление, дистанция болезни, бессмысленный катализатор случайного произнесения. Соучастник, услужливый со-

общник, всего лишь легкость мнимого завершения, когда имитация — наша озабоченность, неловкая попытка отменить первенство сопротивления. Вертикальное соперничество апострофа, покладистость артикуляции определяют склонность наших убеждений к настороженному от духу караванной щелочки.

*

Наша неопытность препятствует, наше сближение дразнит чрезмерную дистанцию, наша предусмотрительность уклоняется, наше предостережение просит пощады.

Твоя возмущенная челка — нескрываемое вторжение в глубину ядовитого запрещения.

Но пока решимость откровенна, наше поражение осторожно испаряется, подтверждая незаконную безупречность соединения.

*

Возможно, это просто избыток алфавита, украденный из наших детских комнат. Прогулка за диким папоротником, крошки, сметенные с обеденного стола, школьное беспамятство успокаивает неразборчивость слуха. Нам не хватает нашей неуместности, когда на язык кладут замороженную латынь чайной ложки при обнаруженной ангине, чтобы стать отмычкой возвращенного пейзажа.

СИНХРОННОЕ

Обстоятельная анатомическая связка царапает беглый круговорот провокаций. Массовка изобретает очередной возглас — реклама, витрина с образцами товаров. Гибкая инъекция охотно принимается зрителями на фоне практических афиш. Разлинованные жесты в полном согласии с деревянной мозаикой чайников и неяркой эмалью кружек.

Височная кость телеграфирует о вагонах столкнувшихся поездов, когда арендаторы включают в счет четырехгранную благодарность амфитеатра, вставленную, по условиям завещания, в очередной номер программы.

ЦИТАТА

Динамика, импульс, энергия. Он распят иглами софитов. Шизофrenия отторжения, мучительная ересь. Пальцы, разрывающие

молчание в ключья, лицо ускользает из дрожания кадра. Безудержный хаос повторения, запрокинутая пульсация срывающейся молитвы. Острый угол зрения, устремленный в горизонталь. Смертельная воронка ввинчивается в чуждый лексикон. Язык стремительного металлического блеска, сплошной голосовой сбой, слепящие пятна лихорадки, откровение непрерывной отверженности и жесткости. Сосредоточенность обнаженного электричества, паралич дыхания. Гимн, переходящий в брейк-данс.

ЭПИГРАФ

Поставь знак равенства между точкой изумленного экватора и равномерным выветриванием балансира. Разногласие распределяет освобожденную проницательность клавиш и преодолевает коррозию наказания. Мы проделываем больший путь к обозначенному на схеме ориентиру, чем приближающийся ритм каллиграфии.

Словесный ракурс — хорошо сделанный чертеж перспективы. Чтобы проверить его, умелый механик только подстраивает размер шрифта, изолируя вход. Мы готовы отозваться на ссылку мраморного календаря, чередующего титры вымышленных имен, когда зрительная память искусственного света заменит мембрану четкого почерка на блуждающее беспамятство распятия.

КОГДА ОНА ИДЕТ ЗА ОРФЕЕМ

1

Под парусиновым навесом неловкая ответственность оберточной бумаги. Девушка в деревянных сандалиях бросает жетон на зубчатый край турникета. Ее макушка предъявляет искусство фигурной стрижки фруктовых деревьев. Свет электрического фонаря обнажает ее настойчивое безразличие, металлический браслет налаживает контакт в абсолютном полюсе затмения. Пространство зашкаливает, перекашивает, сбивается, мысль о ядах и противоядиях выслеживает ошибки в произнесении пароля. Сговорчивый чертежник, беззаботный горожанин сквозь стекло вытягивающейся пробирки наблюдает ее стремительное удаление по направлению к графику движения поездов, транслитерация переключает уровень треугольной скованности в другую солнечную фотокамеру.

2

Скованность, настороженность, почти неподвижность. Неустойчивый, шаткий проблеск внутрь, откуда — эпилог догадки, рефрен монолога. Ежедневный дубль засвеченного кадра, список повторений, почтовая полифония водораздела. Обжигая кожу о солнце, ты должен сказать либо «да», либо «нет», чтобы талисман возвратился к начатому. Постепенное ослабление, увеличение, предел нерешильности, освобождение. Мгновенный разрыв сквозь альвеолы. Условия договора, контрольный тест. Цитата безупречна. Enter.

СОСТОЯНИЯ

День. 17-е, вторник

Взвинченная парабола. Город набрасывает сеть. Отстраненный ловец воздушных течений. Прикладная динамика перемещений. Безумное кватроченто восточных религий. Отказ. Еще отказ. Категоричное отрицание возможных скобок, выравнивание пределов.

Вечер. 5-е февраля

Бездонный Парациельс. Вычисление пути, чтобы поймать ускользание света. Постоянное пребывание на краях. Ограничение. Источенная червями перемена. Мы знаем о достоинстве этой монеты, в которой словарь пытается отыскать запретную мифологию. Добровольное примирение винительных падежей. Настойчивое уклонение тысячилистника и валерьяновой аморфности. Растекающаяся анемия.

Five o'clock, вчера

Размеренная чинность. Ты успеваешь отследить бьющуюся пульсацию, тиканье простого расхода времени. Нулевая точка температурной шкалы. Пружинистая текучесть ксилографии. Цинк в крови устанавливает ежедневный тариф западного ветра. Насмешливый диспетчер нашего слуха меняет интонацию препятствия и выполняет безупречную анестезию.

Ночь

Окончательная экспансия. Отчуждение осязания. Наплыв, исчезновение резкости. Круглое, почти бесполезное — пусть лежит, всегда теперь лежит здесь. Часовой механизм, неподвижное очертание. Предметность. Пребывание. Противостояние пауз. Опрокидывание. Избыток желания. Декоративная арка поцелуя, сговорчивая акустика дополнительной галлюцинации. Прозрачная логика, длящая растяянность приглушенных действий. Мы балансируем на кромке Южного полушария, добровольные эмигранты опытного мастерства.

НЕДОСТОВЕРНОЕ ВРЕМЯ

* * *

Горький снег над корнями миндальных деревьев. Барсучьи норы темны и уютны. Здесь электрический свет отклоняется, и стена прижимает к кирпичам сферические охранные грамоты позднего виноградника. Актер, чья мантия — газовый фонарь, одноногий бродяга с заплывшим глазом. Выгоревший оттенок королевского флага научился идти наперекор Британии. Тот, кто отрицает привычку и долг, легко запутается в невысказанном вслух. Его непроизносимый бесшумный силуэт тщательно размешивает прицелившуюся точку зрения. Ты опускаешь руки в струящийся алфавит, напуганный одной из возможностей потери ориентации.

* * *

Чайный интеграл сигнальных огней, шипящий фон пренебрежения, гладкий моллюск на извилистом вязком дне. На фоне погребальных камней длинная узкая скамья прячет их нерешительность в Past Perfect — безукоризненное совершенное предательство.

* * *

Ты расшатываешь больной зуб, смазываешь рану зеленкой — пятнистая оплошность болезни, повторный знак препинания. Твои сказуемые благоразумны, когда, осознавая опасность разоблачения, ты пытаешься отсеять смежную реальность. Уложенная тайным сговором, пересекающая линию эклиптики наклоненная отсрочка превращается в шелуху кофейных зерен. Если туда добавить боли-

голов, крапиву и прочую инфернальную ботанику, то у нее окажется масса свободного времени.

* * *

Первоначально сонар отмечал все звуковые подробности скрипящих шлюзов, стачивая зубцы и кромки для стеклянных часов. Потом настал черед газетных вырезок и консервных жестянок в маленькой нише возле сдвинутых колонн. Воскресное ожидание, праздничная переписка — спокойное и неторопливое приближение пристального парома. Мы никогда не сможем повернуть ту заслонку вокруг местности под предлогом усиливающейся боли. Только бледнеть — там сторожевой корабль конвоя застигнут врасплох недостоверным поручительством.

* * *

Перила, поручни, шестерни — грубовато-сердитый сезон годовых колец. Постоялец — головная боль, помеха, опрометчивое обещание, старая история о земляничном поле и арендаторе. На том месте — пустота, углубление, впадина, такое искривление, прогиб местности, производящей каникулярный наркотик. Ты бы мог отчитить песчаником эту пустотелую голограмму, этот омоним вещи, приносящей несчастье.

Длящийся час, длящийся недолго час как бесконечный горизонт, история сонной болезни, вывернутая в гостеприимной лихорадке.

* * *

Глиняный, гончарный, перерастающий в остров. Праздничная гирлянда эмбрионального совершенства. Там растет невыразительный обломок империи. Он любезен и приветлив — любимец, похожий на прежнего царя. Воздушная линия, корабельная охота, подарившая щупальце осьминога. Покровительство нелюдимого незнакомца. Ему останется гравюра, мысленный орнамент, бесцеремонно лгущая подделка.

* * *

Несомненно, пока все хорошо. И можно вообразить два воздушных тела. Острая нехватка воды, перетекание земляной осыпи, развертывающейся веером. Причудливый любитель лицемерия, блес-

тящая безделушка, рассеянный взгляд соперничества. Медленный свидетель, бесстрастный очевидец, когда поднимется высоко в воздух мраморный зуб ядовитой змеи.

* * *

Ты осуждаешь его пристрастие к фразеологии. Способного жить только при свете, его уличат однажды в фонетической темно-лиловой карболке. Так фосфоресцирующий «phallus» окажется мелким и незначительным «phantasm», призрачным хроматическим дефектом пленки. Вдруг покажется, что здесь — привычка, пустышка, вытащенная из коробки ненужная вещь, и, отодвигая англо-русский словарь, понять, что рядом пустота воздуха и беспощадность приобретения булавочного ожога непрекаемого итога.

* * *

Кольца на хвосте гремучей змеи — опровержение отступающего ледника. Примирение, рецидив жестокости — так самолет выравнивается в воздухе, срезая запасную палочку губной помады. Сопротивляющийся магнит, безжалостный электрический поток сквозь незащищенный иллюминатор. Звездная арендная плата — приди к согласию на небесах.

* * *

Искусственные точки телеграмм. Твоя возлюбленная неосторожна и опрометчива. Непрерывное кровосмешение. Неуверенность. Неопределенность. Непостоянство и изменчивость привлекают внимание. Мы все еще здесь — невещественный беспорядок, беспомощная бессонница. Небрежная католичка, ее оброненная монета обесценилась прежде, чем коснулась пола.

* * *

Робкие светила, ангелы небесные, бледный переулок больничных сиделок и мраморных коридоров. Шаткая опора прикосновения пальцев. Длинный переход — изящнее, тоныше. Волокнистая фигура, вымысел, фикция. Шатающийся пустяк внутри страницы. Белое незащищенное сочувствие, дрожащее ускользание. Острое блестяще завершение. Финал.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ

Теперь — о невозможности слышать. Куски ночи, оторванные и летающие в воздухе — причина распада гипсовых оснований. Сегодня уже ни сказать, ни сделать, ни развернуть самолет обратно. Что ты оставляешь позади белых огней — тень от луны, посещение бумажного дома. Волосы, губы, глаза, ответ нелеп или не нужен. Остающиеся падать снежные ягодные шары. Оставляешь только привычку жить. Потом, когда побелеют крыши, в ритмическом возрасте укажешь причину словарной недостаточности. Войди в круг отмененных языковых соответствий, вытащи из ледяной реки фрагменты той жизни, подумай о том, как обойтись одному, без опоры на греческое и египетское, богов и философов, границ и пространств убывающего зрительного склонения. Пунктир моста, осыпающийся в пустоту, бессильно раскрытие губы. Здесь нет ничего, что можно удержать повсюду, кроме дерева, к которому прислониться. Дом, стол, колени, опускающееся на пол гибкое тело обнаженной девушки. Ее безусловное совершенство испугано провинциальной избыточностью бестактных прикосновений. Она там — на два шага позади, там, где была оставлена, или остановлена, или остановилась. Непроизнесенная досада, когда сквозь стену бьют часы. Монотонность и резкое опрокидывание, однообразные повторения жесткого графического соединения умелого любовника. Ежедневный ритуал вхождения смежных пространств.

Фрагменты ночи, соединенные в ее теле. Статичность и неподвижность, разочарованная этика калейдоскопа. Пытаясь сложить узор, разрушаешь конструкцию ее сдержанного отстранения. Круг, спираль, вращение, тема для психоаналитика. Готовность заплатить за сломанный ветром камыш. Ладонь наивности удерживает затылок, виски захвачены мягким наркозом. Вплываешь в аккуратно продуманный пейзаж условного завершения очередной репетиции.

ВХОЖДЕНИЕ В ГРАНИЦЫ СЛОВАРЕЙ

1

Горизонт вычерчивает линию стремительной аритмии, двигаясь по периметру неизбежности зрения. Висящая на стене карта втягивает электрический поток неясного освещения. Конденсирует тем-

ноту вне границ. Расползается похожее на чайное пятно. Сливается удивленной сеткой трещин. Пробует растворить себя в местности позади окна. Состояние сворачивается, предпочитая увеличивающуюся пульсацию черных точек в местах расположения крупных городов. Равномерное вращение. Стрелка прикована к направлению «норт-норт». Небо окружает, заставляет изменить траекторию мериидiana, распадающегося на мили и лье. Его неподвижность уместилась здесь в формате А3, чтобы исказить геометрию блестящих ртутных полей. Возможность перечеркнута. Переполненный край стеклянной карты сползает на пол и подбирается ближе. Его металлическая протяженность избегает определений и уверенно остается процессом обратимости. Стоит всего лишь отвести взгляд. Всплыть из глубины ее статичной географии, ориентируясь на зубцы скомканной иерархии. Выбранная точка зрения рассыпается на черные отверстия внутри, которые становятся обычным препятствием земного радиуса на пути к расстоянию. Повернись к стене и прочти надпись. Твои движения замыкают кольцо расплавленного магнита, отказавшегося от направлений этой схемы. Произвольность их иероглифов определяется разрывом в линии озвученной синхронности. Жесткий изгиб, напряженный виток распадающейся статичности.

2

Когда линию проводит горизонт, каждый отпирает свои замки, и ключи гремят по камням, отбрасывая тени, растущие при свете ветряного двигателя. Твоя рука отталкивает, приглаживая пустоту, проветривая края возможного возмездия. Их мягкость — каменная спираль, разъятая вынужденным взглядом внутрь из той середины, где утонули четкие контуры гор.

Они приходят, пытаясь вымерять шаги за секунду до тянувшегося грохота туч, обещая прочную легенду неопределенности взамен оборота проволочной стабильности. Ты видишь сквозь оконный проем пересечений не дальше пределов собственного воображения. Привыкание раскачивается, множит простые заботы и поручения. Потом проповедует пустоте, ждущей на выходе переполненного гальванического коллапса.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОТИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ

1

Голосовые связки упраздненной точности. Ее пластичная лингвистика осторожно обходит ленивые пороги падежей, оставаясь на границе простых времен. Их неотчетливое произнесение, далекая мелодия невидимого Бога превосходит знаки препинания, отдавая линии совпадения склоненным головам.

Взгляд стремится уйти внутрь, ограниченный графикой стен и все же выталкивается вверх к быстрому конусу взлетающего эллипса. Там, в острой точке срезанной вертикали замкнутость разорвана, и в сверкающее магнитное отверстие вплывается солнечная акустика.

2. Точка равновесия

Праздная клинопись, неустойчивая неподвижность. Режущая осторожность потерянного послания. Мир пропущен в этом исполнении, — лишь несущественная деталь, выпавшая из сложенных острых обломков. Разговор, выстраивающий молчание: шар, наполненный водой; крепко сведенные губы. Никто не пересекает границу, ничего не проникает наружу. Часть, заменяющая все предыдущие свойства. Связь, выстраивающая линии уходящего соглашения, соединяющего роговицу сетчатки с возможностью голосовой имитации. Ее узкий лаз намагничивает остаток иглы, пытающейся скрепить прерванное непостоянство.

Изломанное отторжение, сжатый наркотик, накренившаяся отмена существования. Подвижная гравировка ускользания, исполненная предстоящим днем.

3

Гипсовая иллюзия, убегающая в лестничные междометия. Лови звонкую медь с изгибающихся тротуаров, собирая разбитое отрицание в ироничную небрежность. Тяжесть ритуальной условности избегает своих корневых заголовков и ежедневно разворачивает полотно утраченной безнадежности. Ее пространство — круг, молчащая плоскость бродячей пустоши, помеха прерванного пренебрежения. Древняя усталость оставляет тебя стоять по колени в каменной забывчивости на прогнувшейся ступеньке, скованной напряженной темнотой уходящего вниз стершегося пергамента.

СПОСОБ ФОТОГРАФИРОВАТЬ СНОВИДЕНИЯ

1

Полюс раскидистого равновесия. Кто встретится на этом низком карнизе, кого поймает узкий колодец, заштопанный паутиной оконных проемов? Гремучее и честное пробирается водосточными потоками, вдавливает трещины в плиты, произнося равномерность внутрь. Бронзовая ограниченность и завершенность. Криптограмма совершенных известий. Ничто не пытается выбраться наружу. Тень, пыль, почтовая марка сворачиваются в карие сумерки предместий, пробующие свое самостоятельное вхождение в ритмическую оторопь звуковых соответствий.

Запах тины и песка вытягивает переплетенное кровельное происшествие. Там уточняют, прячут, сосчитывают запас книг на тот период, когда возле городских стен образуется гнездо дракона. Песчаные шупальца потянутся от реки в дома, захватывая дороги и влажные сады. Шершавая древесина, печальная имитация времени, начинающая отсчет, когда с обоих концов доски встанут молчащие люди. Увеличивающийся размах, гремящее острое совершенство удачливого механизма. Вдали остается попытка спрыгнуть, опираясь только на кружево провисающих канатов, вычеркнув из времени усилие раскачивающегося маятника. Распахнутое пространство падения. Истончающееся стерео. Занавес.

2

Первое спокойное отражение. Возвращение пустого взгляда, прочного каркаса воздуха. Там удивление сохраненной улыбки, падающие зигзаги противоречий, ключицы воды, ключи песка.

Рост осенних газовых фонарей, примерная Голландия накрененной фантазии. Ее воображение укладывает дорожный сундук теплыми руками декоративных подушек. Кованые ворота, медь и осторожность. Оставляет время, чтобы прочесть название. Теперь — вниз, по левой стене, туда, где освещенный круг, бормочущий спуск, влажные простыни. Проверь принадлежность и уступи. Так появляется луна, продолжение, желтый рисунок, конная привязь. Серные спички облокотились на поручень. Над тобой — лицо, неуловимое как просыпанная мука. Съеживается, уходит в глубину. Протекает насквозь вдоль ритмического провисания нотной перегородки.

* * *

Лица, наполненные забвением. Усталые торсы, праздность откованных мраморных пальцев. Прозрачные святые католической катедры. Способ отторжения себя вовне, вместе с перспективой линейного интерьера. Витражи перекошенных каменоломен. Выверенный гербариев евангельского пейзажа. Планки пространственных сечений уложены в складки рассеянного декора. Звездная фотокамера античности распоряжается процессом обратной прокрутки.

Беспечные иглы темноты прокалывают риторику произнесенной латыни. Готический обморок иллюзий увеличивает стремительную горизонталь звонкой мозаики. Освещенная гравировка купольной объективности. Ажурное пространство гончарных сводов, изогнутая орфография йодистой керамики вестибулярного языка. Способ поглощения гравитации зависает во влажной пустоте камня, позволяя остриям теней касаться угольного войлока воздушных фильтров. Отверженный пластик декораций, рассыпающийся картон откровений. Здесь, в отполированном дереве, у треугольных известковых плит мы размещаем нашу неспособность, проволочный каркас гипсового слепка, отсутствующую фантазию утраченных геометрий. И только подорожник не соблюдает условий договора, подписанного изначальностью.

* * *

Просвет, мир непроявленных форм. Отсутствующие мазки кисти и карандашные оттенки монохромного изображения. Вода — свойство темноты. Расположившись в динамике пейзажа, строить мост в условном пересечении ограниченности. Путник завершает композицию в плоскости листа, уходя без направления вглубь, поворачивающая скрипящие оси объема.

Азбука вращения круглолицых назиданий завершается чернильным хаосом изломанных очертаний, вторгающихся в острую горизонталь.

ЗДЕСЬ, НА СИНЕЙ БУМАГЕ

Птицы и тучи врашают осенний пейзаж. Желтая грань башни пересекает свою собственную орбиту. В радиусе трех миль мы становимся частью смерти, разделенные возвращающимися репликами

дублеров. Позади дома траурные повозки. Агрессия ежедневного труда не заботит их. Новости булавочного укола, бордюр звукового соответствия. Становясь твоим, выламывает кольца из древесины фруктовых деревьев, признавая правоту солнечной амнистии. Они не извиняются, сжигая ловушки, западни и волчья ямы, оставляя сахарный узор червоточины в протяженном пластире бездомности.

Плоскость черно-белой равнинной апатии подтверждает скованность своей архитектуры покорной уклончивостью. Никто не препятствует равновесию, оценивая неустойчивость побежденного желания. Эрозия ошиблась, предполагая избежать нашей беззащитности.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЗГЛЯДА

Блуждающая температура захватывает повседневный грунт. Отсылка стирается исчезновением, смешая детальность и уверенность. Компенсация достаточна для подробного удаления, сходство определяет его пристрастие к примечаниям. Вознаграждение инспектирует наше несогласие на отказ, надеясь на уступку мнимого благородства. Но на этой дороге никто не спросит о тебе. Качающийся поворот, утомленная невесомость, соединительная ткань водяного знака, окольная дорога, кружение внутренней стражи возле осторожного внимания. Убывание крови в водоворотах путешествия — твоя визитная карточка. Авитаминоз, бесплатный растворитель пространства, вереница выбирирующего вакуума в бессрочной летучести жесткого электричества.

ВАРИАНТ

Твое выздоравливающее произношение — бесполезное открытие, отторжение беглого соучастия, записанное на пяти нотных линиях. Неторопливое действие как прибытие парома или комбинация случайных чисел. Версия стекла освобождает женскую одежду, придвигаясь к востоку. Бамбуковые листья, девочка и вспышка, молоко и беглец, полное признаний поле — чья досада определит более точно несуществующую вещь. Сводка погоды ловит нас, когда агрессивное среднее время опирается на новолунье. Контуруй горизонт — сверкающая добыча чрезмерного повествования, долж-

ник складчатой преждевременности рассудительного корректора. Гремящая единица, ее исключительность противостоит нам, когда на дисплее высветится декоративный сорт черного китайского чая.

* * *

Сквозь красные холмы, поперек зрения — золотые сумерки и зеленый рельеф. Четкость и контраст — наше освобождение от боли, разъединяющей реликтовую неуверенность. Отступление резкой ретуши, исправление почтенного протеста. Отмененная точность захвачена вращающимся разрывом, экономной зависимостью и тщательностью края, обочины, кромки и карантинной возвышенности.

Ты высмеиваешь мой способ препятствовать. Соль и табак, жаровня, пластмассовый кофе из автомата с газированным соком — осторожная причина неудачи в этом сезоне. Римлянин и католик ограничены крестом, куском земли, мягким шрифтом латыни и кровельным железом небес. Твоя вместительность, скрученная для реестра каменных каталогов, — всего лишь черновик местности, приблизительная неровность кругового движения. Стопка монет, завернутых в бумагу, закругляет незаконченность чередования, вращая ритмический маршрут ступеньки. Мы копируем направление, полное раскаяния, чтобы уничтожить взаимное пересечение наших инерций.

* * *

Каркас неврастении опаздывает к законному отторжению преувеличеннойдержанности. Мы уверены в своей оптической дозволенности, и наша сделка пока еще — безнаказанная степень нагрева. Изношенная телеграфная тектоника соблазнительна, и рассказчик регистрирует деликатную татуировку чайного листа, пока чашка плетет кружево в открытом воздухе. Проповедник пытается удержать конспект оглавления и укрепить этикетку синтетического синонима. Слушай вибрацию головокружения, и амплитуды обморока совпадут в ритме дрожащей энергии. Повернись к симметрии, которая подхватит нас в стремительном разъеме солнечной топографии.

* * *

Расстояние заставляет ждать. Воздух между двух стекол, где изогнулось тело бывшей ящерицы. В награду принесут и забудут яблоко у телефона, телеграфа и мостов. Все деревянное в этом доме источено молью, лишь рыбы молча плывут, уворачиваясь от солнца. Протянешь руку — вытащишь со дна болотный камень. Когда ты уходишь, они продолжают накапливаться, уменьшая в размерах гласные звуки. Вечером упадет, пожелает расколоться, но закатится под шкаф, затаится. А потом спрыгнет с подоконника серая кошка, чтобы ждать спрятанных игрушечных мышей.

* * *

Страница уходит за край листа. Так выпадают синонимы из словарей, предупреждая о возможностях обмена этого языка. Теперь самое время сменить кириллицу на небрежный беглый иероглиф. Неуловимый смысл чужого языка, внутри которого тебя старательно обходят со всех сторон, ловя в узловатую пустоту. Проще всех смыслов движется ладонь, следя линии узнавания, — одна на всех. И слова, появляющиеся позже, окажутся похожими на все слова мира, обозначенные в этой минуте. Все стягивается внутрь, в тот греческий орех, что плывет по медленной воде в забытой комнате предотъездной суеты.

* * *

Простые времена — это когда невозможность лжи определяется лишь выпадением первого снега. Под утро. Все накопленное знание позволяет не торопиться, узнавая пространство, отведенное для жизни. Можно позволить увлечь себя потоку ветра, времени или взгляда. И лишь тогда начинают проявляться те мелочи, из которых и складывается окружающая местность. Возможность зафиксировать и разглядеть сродни возможности погружения и растворения. Можно позволить себе не объяснять, а лишь проследить взглядом и отметить.

Именно сюда возвращается память. Ничто не мешает исчезнуть, и все то, что было когда-то, переместилось в теперь, оседая в иней. Постепенно приходит понимание чужеродности бытия, где бы ты ни оказался. Но как только привычка станет привычной, мир опять распадется на осколки бывшего пространства тех мест, где нас нет.

Реальность может истончаться бесконечно, но никогда не исчезнет. Даже описание взгляда на окружающее кажется не зрительным, а тактильным. Попытка убедить себя, что здесь не фантом, а реальность. Ее дело — не обрыв, а продолжение. Приближение ограничивается и не позволяет подойти ближе, чем тебе предлагается. Остается только возможность убедить себя, что это не закончится никогда.

LIFE-TIME

1

Выход к преждевременной дате заставляет спешить с отправлением письма. Кровельное железо сумерек обитает в буквенных опечатках, повторяя механические слова. Сплетенные пальцы, зыбкие рты, дрожание траектории логограмм. Провалившись в свистящую зыбь шаткости, опережая сказанное. Твой почтовый день растягивается, предупреждая будничное вздрагивание противостояния, в то время как извлеченная прихоть устанавливает свой контроль резкости. Боковая поверхность, скрытая теплота. Следить, как клавиша бесцельно убирает написанное, сворачивая клубок ассоциаций до точки. Почти на другом конце земли она прерывает совместное путешествие, ее незаметный уход оставляет тебя в том же состоянии сомнительного эксперимента.

Лимонный цвет, лицемерное движение многословия, действие опережает себя в аккуратной подробности. Милосердие сетчатки, укоризна зрачка, щедрость освобожденной линзы, отрывок оптического бормотания держится в сильном восточном ветре. Известковая вода ограничивает линейный контур дозволенных границ электронного послания. *Вероятность его получения неизбежна.*

2

Мы движемся навстречу друг другу. И тысячи башен вмещает один день. Солнечные гейзеры впиваются в лицо, обжигая глазное дно перевернутым отражением пыли. Пристальный канон прислушивается к протесту наших рук и обрамляет камнями остаток пути. Пометка, закладка, зарубка, деревянная осина восстанавливает

право на исключение из списков путешествующих. Мы — лишь знак повторения, случайно выпавший из дозволенного контекста, лишь копия обвинения замкнутого рельефа. Нам еще позволено отступление, возвращение, восстановление паузы в неподвижности. Ответная реплика не достигает и продолжает балансировать в слуховой галлюцинации. Это — всего лишь отсрочка, заманчивая достоверность, неуязвимая для спящего.

полуденный воздух

* * *

Здесь нет ничего, что можно было бы назвать точным или имеющим границы, хотя именно этот город наиболее точно и резко очерчен. Такое длинное время года, что обычная капля успевает ненадолго повиснуть в воздухе между двумя стенами домов, заставляя их разговаривать мхами и песком, осыпающимся из ненастоящих колонн. Город не так уж честен и прямолинеен. И кирпич может прикинуться камнем, не выучив его язык, а лишь запомнив несколько общих слов — поверхность, вода, песок — делая обожженное огнем подобием самого точного и верного. И все же, раскрываясь во сне и проговариваясь ночью на языке всех кирпичей мира, выбалтывает свое глиняное краснеющее происхождение. Теперь-то только и дела — заставить себя поверить в это обманывающее существование и не искать под каждой штукатуркой его лгущую осьпь. И повсюду поджидают терпеливые медные змеи — те самые родственники, что старательно глотают песок, и воду, и неторопливые поглаживания одинаковых рук. У этих змей всегда закрыты глаза и кожа пропускает воду — внутрь в каменную середину. Под тонкой вчерашней кожей — только вода.

Легко ошибиться и запутаться в расписании — камень всегда тверд, и воздух твердеет тоже возле воды. Такое место схватывает руки — улыбающийся гипс, скатывающийся мрамор. Самое мягкое — речь, самое твердое — вокруг тебя, рука не встречает продолжения или препятствия, если захочешь — пройдешь насквозь. Вода существует всегда там, где ее главное огорчение.

Город, чье продолжение — ступени, текущий во всех направлениях, чье застывание вроде мокрого песка, когда ветер высыхания заставляет рассыпаться ненадолго соединившиеся капли. Вода

и стекло, чье содружество терпит огонь, и воздух помешает растворить ветер своих водосточных труб. Земля уляжется у ног, пытаясь уронить на камень бывшее живым — лист, ящерицу, глаза гриба, пятна луны. Крапива не выдерживает гладкой пустоты и уходит совсем. Разговор, чье молчание вместо рыб складывает плавники под мостом — только узкие серые спины, привычная складка воды, морщина песка, разрыв гниющей на дне водоросли. Там, вдоль арки, внутри нее — та дорога, что спасает небо, когда-то затянутое горизонтом. Теперь здесь такие древние надписи, что стоит сосчитать все перила этих лестниц, стоящих внутри воздуха и песка. Сон приносит рыб, выплывающих на берег, длинный глухой глоток воздушных оболочек, чтобы потом опять просыпаться с наполненными водой легкими.

* * *

Египет сгущает головную боль, Греция — рассеивает.

Бегство в Египет, в глубину черного царства мимо морской поверхности греков и мраморного воздуха Рима. Здесь подземная земля молчит, сжимаясь от прочного испуга прошлого. Ее старательно распрямляют верхушкой вверх, удивляя песок способностью к прочности и практичности. Теперь глаза повернуты в темноту, священные животные ударяются об ее острые углы и остаются жить, спеленатые длинными свитками с отпечатками лап и растений. Потом, в глубине, земля звенит от бронзы и окаменевшего дерева. Эти колокольчики привязывают на весла, плывущие по воде в мертвую графику морока, чьи линии образует вода, попадающая вместе с песком в закрытые глаза и губы. Здесь молчат слова тех, кто умер. Их город был вчера, угольным камушком ударяет о дно сосуда, молоко и уголь — пища его богов. Только глаз, спрятанный под веком, может вместить путь, проделанный зрачком. Воздух, дающий голосу время раствориться, еще не настал. Долгое и черное время тоже молчит о своих гибких змеящихся находках. День втекает в ночь медленно и почти неопасно, разрешая записать свою речь острыми и глазастыми знаками — они гребут к югу — к началу горизонта, где живут тени рыб. Мертвые живут там — внутри испуганной кожи змеи. Дом остается вымыслом — временным пристанищем, и только глаз — последний путь, сохраняющий все. В его печали — вся тайная мудрость строгого обычая, не позволяющего засыпать надолго. Река несет черепки глиняной посуды, стягивая

к берегам тростник и стекло. Голова запрокинута в ночь — на воссток. Древние спят. Земля молчит.

* * *

Окруженный тем же воздухом вдыхает темноту. Слепые тени испаряющихся видений — сажа ночной трубы. Солнце выжигает белые полоски на камнях, и деревянные дома блестят у самого края полуденного зрения. Тебе хочется оттолкнуть этот громкий воздух, но рука проваливается в глубину. Простые слова — лед, глина, земля, печь — заставляют произносить их, медленно заучивая течение фразы — так чужой язык диктует свои расходящиеся правила. Ты не обещаешь, лишь говоришь и, слушая, убеждаешься в неизбежности понимания. Украденные из своих языковых гнезд непризнанные согласные и произвольные глаголы все еще надеются на благополучный побег в мелкий шрифт словарей. Усталость расходуется лишь на приближение. Каждый предмет на столе успокаивает невесомую тревогу, которую приносит любая пометка на полях, отчеркивая значения, сомнения и кричащие апострофы. Твой сон вздрагивает водой на блюдце, в котором отражается вчерашнее путешествие, дерево, трава, камни — все безымянное и оттого молчащее. Рядом пропадает ненужное уже имя, сквозь которое теперь разве что проползать змее, сбрасывая кожу. Оставаясь или уходя, ты отпускаешь или освобождаешь привыкшие к тебе вещи, заставляя их покинуть свою оболочку и вернуться к мнимому пространству. Здесь остаются звуки твоих шагов и эхо слов, не обозначенных ни в одном словаре мира.

* * *

Тема воды заставит тебя сегодня забыть о всемирном потопе. Ты презираешь Ноя, задумавшего спастись от божьего проклятия. О ты, лучший из людей, будешь последним в очереди за глотком воды. И не будет тебе оправдания, и дети твои проклянут тебя за твой непреходящий оптимизм. Лишь тебе выпало следить за тем, как погружаются в море верхушки гор и конусы маяков. И ты проспал все это и не смог увидеть глаза ящерицы и того неба, что осталось под водой. И ты бросил все это, или все это бросило тебя, и ты теперь остался один, и где твой бог, за что-то покаравший тебя этой текущей водой, этой стоящей водой, этой неухоженной, неходящей па-

мятью, покрывшей тебя с головой и несущей к тебе мокрые тяжелые водоросли. И волосы твои — дым, и волосы — твой дом, и твой дом — эта вода, эта память о доме, ты сам свой дом, вот ты и пришел к нему. Вот и жди своих сыновей к выплывшим деревьям, привязанных к пещерному огню и каменному обычаю длинного дома. И радость твоя — из ночных опавших листьев, долго державших твои незаметные корни, сплетаясь и унося ленивых водяных ужей от глаз, криков и длинных ночных кошмаров.

И ты презираешь Ноя — этого доброго человека: что ему вина и что ему терпение в этом недолгом предчувствии холодного бормотания воды под незрячим корпусом ковчега, уходящего от того, что было домом.

внутри горизонта

1

Здравствуй, летняя ночь. Твои теплые змеи упруго скользят в воду, твои большие глаза темнеют от приближения ладони ко лбу. И ночная ягода светится, перекатываясь по большому лесу. Твои дома держатся за руки и не пускают тебя в квартиры, где стены ласково прижимаются к человеку и сжимают горло.

Так ты учились многоного не замечать и боялась круглого зеркальца, оставленного на ночь неприкрытым отражением на столе. Глаза обращаются в темноту. Там легче всего стоять закрыв. Каждый укус гладкого, перетекающего в кольца, выдает тебе влажную возможность задержки дыхания. Так густеет кровь. Виноватые больше не будут, и тебе не придется увиливать от ответа со всей невозможностью легкой походки. Теперь туда, где потемнело небо, — с края скатерти стекает молоко, веранда полна зеленого липкого свечения, где они разбегаются. Там тебе зададут вопрос о самом любимом, привычном, в дырчатых сквозняках. Ты должна им ответить, не думая о складках платья, где сцепились репейники. Промежутки заполнишь водой, плавниками, утиным тростником и пуговичным страхом.

Шуршит шерстяная в одеяле и просится к тебе, ты стараешься полюбить ее и запоминаешь ее лучшие дни, сосны, ветер — что еще дать ей? — и не можешь взять за руку. Высмеиваются лишь цифры, да ясный холодный ответ — осенний высокий полдень. Не согреться, только дует из поцарапанных веток. И так забываешь телефон, и опять можешь только думать — туда, где потемнело небо.

2

Слишком простое воспоминание не может задержаться в твоих руках. Все, что тебе теперь нужно — это камень в корзинку, лучше два — и совесть твоя будет чиста. Опять ты выскользываешь из рук,

чтобы пожаловаться на слишком теплую воду и слишком легкий воздух. Кто подсыпает льда и песку, того ты и запомнишь на этот год и выберешь в провожатые — не упрекнет в медленных шагах, вбок и почти назад — ты любишь возвращаться. Прошлое — твой дом, паутина — твой лист. Ты знаешь, что он не умеет не замечать, и приносишь свое, не защищаясь, чем больнее — тем легче. Предлог для испуга, поворот головы, устаешь от долгого общения, это стекло между тобой и собеседником — твоя обязательная ноша, и если растает, где будешь тогда искать замочки и петельки на застежки для глаз, рук, чистого слова.

Тебе нравится не верить — что приходит так просто, в руках держать легкое не умеешь, радость твоя из измученных воспоминаний недельной давности.

Боже, дай ей камень потяжелее — вот и радость ее будет, вот и ноша, и совесть чиста.

3

Мягкие ступени, приближается из дома, в рыбачьи сети запуталась китайская утка.

Ты — воздух, тебе не больно. Ты все еще любишь огонь, и перед водой не страшно за прозрачность. Земля пугает тебя своей твердостью, но ты напрасно боишься оцарапать свои легкие плечи о ее корни, а растущие трава и деревья вытесняют тебя от земли — вот уже едва коснешься ее умной насмешливой руки. И что ты можешь сделать — гладить своими беспомощными ночными пальцами, шептать или фыркать в ответ на колкое замечание.

И лишь вода поможет утке-мандинке в теплых сетях забыть свою родину, медленно вытеснит твою усталость и наполнит легкие, густая и радостная. Вода проберется к ночной земле, заполнит трещины, просочится в тайные ее, выдумает себе мысли, подслушает твой утренний диалог с ласковой и бережной, руки к тебе протянувшей глиной, да и отгородит молчаще, и ты, приближаясь, наконец, к земле, коснешься моей текучей поверхности, и лишь рыбы принесут тебе со дна ответом земли — блестящий пузырек воздуха.

4

Что тебе сделать с водой, с ее беспощадностью и непрочностью. Ничего не принести в дар — обточит камень, успокоит землю, залечит упавший берег, и лишь испугавшийся воздух будет напоминать

о прощении, некогда данном, давшей неподдающейся этой слабости робость примирения.

* * *

«Старый волшебник делает глиняных кошек, а собака думает о волшебнике».

Когда придут грустные бородатые люди, заберут тебя в большие глиняные повозки, след зерна, просыпанного из корзины, доведет твоих спутников только до проросшего поля, где спутанная трава щекочет нос кошке и пугает желтой пыльцой готовые вылезти коточки.

Ты проснешься, и будет утро, над крышей успеют пролететь утренние капли той воды, которую ты отпустишь.

* * *

Я буду идти по твоей земле, по красному щебню, где нарисовано слово огонь. Теплое озеро красного листа, красная птица у большой горы, черный кофе черного льва.

Светящаяся в темноте полночь приподнимает крышку кувшина, заглядывает в горшок с зерном, проносит ведро воды — светлая рыба — радость молока.

«Раскапывайте говорящих в земле слепых исполинов». Свет от боли и ключ от лампы — путь подковы в городе, где спрятано серебро этих царей.

* * *

Вот так и прижиться — приглядеть себе лазейку, чтобы сбежать, не увидев того, кто был все время рядом.

Лишь память отметит — имя, чтобы потом собирать обмольки, недоговорки, брошенные вскользь прочитанные книги. Кем пришлось, кем приходило — заблудилось, а теперь здесь — ухваченное, прятанное. Ты умеешь уговаривать, жук моих ночей, правильность — вот твоя воля. И имя твое — непокорность. Спиши ли — не вытерев слезы, привыкнуть — сонное благо, успеешь еще оглянуться, память твоя разрешит.

Не торопит, отталкивает прозрачная льдышка, забудь на подоконнике — не растает, дождется, уколет палец острой кромкой, сама же залечит горькими йодистыми слезами.

* * *

Прижаться к подлокотникам кресла, вжиться в его глубину, пусть теперь выдирают из него — оттаскивают к дверям. Укусить вон ту тонкую изящную руку с кольцом.

Прижаться лбом к коленкам — пусть выковыривают из теплого шерстяного угла. Пусть подойдут, уговорят, пообещают другое — лучше и удобнее. Ну, говорите свои красивые слова — я поверю.

А прижаться лбом к дверям, подуть в замочную скважину — знакомо ли вам это. И если есть у кого Бог — то это от Бога.

* * *

Опрокинулась глина, и теперь мифу не сдержаться — мимо красной от света и треснувшей тени микенские рыбы поплынут, трогая креветок, по черной чашке. И пока их чешуя от кирпичного теплого края пробирается в море, глотая комочки земли, вытекает молоко и смывает черную краску удивленная оторопь брошенного узелка.

Мышь посвистывает в камышинку. И, избравшая укрытием раковину, не видевшая моря, сдвинет молнию к руке в складках одежды плакальщицы под бледным небом терракоты.

* * *

Красная глина тянется с земли. В твоих руках песок и оранжевая трава. Чей-то мотылек пробирается за трамвайным светом.

Кто будет теперь собирать твои слова, попадающие в руки вещей и предметов. Соль устает падать с кончика ножа, и приходится искалечь дорогу к соленому озеру. Припухшие твои железки — с берега уносишь в кулаке раковинку. И горький сок алоэ — сморщеный взгляд в сторону стекла.

А по щиколотке — муравей — к подошве твоих сандалий, вот-вот наступишь изношенной пыльной горой. Кто тебя ждет дома — красный стакан и стеклянные полки. Ну, возьми этого мотылька с собой к морю.

* * *

А здесь, мимо черной земли, хорошо идти босиком, держа в руках холодные ключи. Проснется мягкая белая трава, покажет тебе дорогу к выгоревшему морскому кладбищу. Стружки каменной

осыпи думают о кусочеке той тишины, что приносит мышь в вечернюю норку, и только звуки выползающих улиток рассказывают кусту о дожде. Там, где еще есть уголок, можно встретить мягкого зверя, наступившего в середину июльского пруда, теплая вода, стекающая с его усов, станет большим облаком между двух гор и перетечет в сторону черной земли. И тогда за ним ты увидишь своего долгого спутника и подправишь падающую скалу, подставив под наклонющую медную тень.

* * *

Песок — твоему дому, сильный дождь — твоим рукам, ждущий белого приближения стены. Упадет серебро — песок, вытечет из ручья уж, закончит своим телом течение воды, сдвинется земля к краю, не заботясь о высоте. Так опускается воздух на верхушку и пьет с камня ящерица. Капли яда долго берегутся — для прозрачного белого камешка, дающего право войти в ворота корабельной усталости. И упрекнуть камень — разве что в сухости, когда растущая скала двинется дальше в море, утолять жажду пчел белой роющей горизонта.

* * *

От той стены виден только китайский наклон палочки для письма да взлет ласточки над дорогой. Кто первый вспомнит об этом, тот и проиграет сон, и от потерпевших кораблекрушение останутся свои следы на песке. К этой двери приводит змея, помеченная мелом, еще к ней положено на знак плюс муха или переспевшая ягода черники, но в здешних лесах — лишь кварцевые складки, где спрятан китайский ключик от той стены.

на солнечной стороне

* * *

Вот так, спокойно заведя ладони за спину, рассуждать о любовной энергии где-то там в печени. То, что меняется, — не прячется. Удобно быть деревом, ящерицей, просто лоточком для мусора — дай, Бог, тревоги о дожде, песке и трамвайных билетах. А кто не хочет — может оставаться рельсами, лестницей, просто диванной подушкой. Удобнее видеть жестянную мелочь, тапочки, обильную слезу сентиментальных девушек. Уют стола слишком притягивает, позволяет оставлять незаточенные карандаши и пустые авторучки, длинные полосы быстрых или ленивых известий, потерянные клавиши и кокетливую букву на конверте. И все, как заблудившиеся в лесу, дружно орут одно и то же слово, раздаренное не щедро, но умело.

Земля принимает все. Дольше всего остаются живыми волосы. Песок приятнее, чем глина, и солнце сбережет лучше, чем вода. Остаться бы круглой галькой с соленым обточенным бочком. Кому-то довольно остаться лишь словом для заблудившихся.

ОСТРОВ

1

Соль и железо — в море и яблоках. Занавески на окнах не скрывают, а подчеркивают. Это тот самый ход, который проделала мышь, пробираясь в коробку с травой. Дверь не может оказаться закрытой, если это ожидание. А пока — так, простое любопытство. Вряд ли дольше одной ночи. И вряд ли — больше, чем одна. Пока она не зовет, пока только — смотрит. Еще одна подробность — трава выше колен, и просыпанное стекло — песок со дна морского.

Помнит, как в бок впивалась ракушка. Волосы длинные и гладкие. Сон сбывается, если захочет. Но — не зовет. И есть еще слова, которые можно сказать. Не в междууречье. Она сама речь. На песке. Ждет.

2

Время, помеченное крестиком. Потрогать и для памяти — записать. Наколоть его на карандаш, подыскивая булавку. Голова к плечу и вопрос — можно. Руки упрямятся, и волосыброшены на пол. К рукавам приходится пробираться по-пластунски. Тапочки растеряны. Лист бумаги — отпечаток взгляда. Сейчас не увидишь цвета. Утром она уйдет и заберет с собой. Проворнее всех оказались пуговицы. Молча и спокойно ждут булавки. Торопится записная книжка. Речь закрыта на ключ. Ключ выброшен в окно, его поймал котенок и унес. Теперь не скажешь даже о молчании. Осторожности просят только запах ореха и запястье. Так медленно — как оседает пыль. Вздох остается висеть рядом, придвигаясь ближе. Просьба шагов — не хватает ожидания. Кожа болит, отзываясь на поворот головы. Мела не осталось, и след звучит теперь дольше. Стены не отзываются, вздох возвращается. Теперь только воздух не замечает — грифельный рисунок ссыпался на постель.

Двери стоят плотно. Рамы заклеены. Возвращается слух. Дом не видит внутрь. И только котенок принес обратно выброшенный ключ.

3

От голоса остается только кусок — мокрая фотопленка с вашими лицами. Зеленые стекла на песке задают единственный невозможный вопрос — а дальше. От этой земли не убежишь, земляная пепельная сырость подхватит руки, запрет их в рукава, заморозит поцелуями, свяжет пальцы. Во сне пряжа тянется за этой сетью, внутри только зеленые водяные мухи, и часы остановились на соломе, те же хвастливые земляные иголки. Входит в круг тех же забот — приближение, правда, сестра. Кто подскажет ей радость о протянутой руке. Та же ненадежная краткость — читать вдоль лба. Темные длинные волосы. Так приближается узнавание, руки хранят море. Сон не замечает оставшихся. Вода соединяет. Остров продолжается, его существование оправдано, когда размыкают замок.

Чистые водоросли. Сон — глубина. Руки становятся словами. Сон о песке, обнаженный горизонт, привычка слабеющих рук. Завтра будет все.

Обращение предполагает знание — там, куда зовут, уже не будет времени на вспоминание, только узнавание — из тех сестер. Тот ряд предметов, что делает мир узнаваемым.

Воздух блестит. Этот обычай не оставляет времени. Книга рассыпается, мир входит.

* * *

Поезд — изнанка времени, пока еще земля хранит легкие ручейки вчерашнего утреннего звона. Изгнание — неоформленная форма просьбы, свет и радость мелкой удачной поросли. Где бы ни увидеть эти мосты, что так хрупки под своей ненадежной серединой — серебряные скрепки, бумажный непрочный шов. Подгоняя тяжелую масляную воду, горчичные зерна просто и ровно всходят на дне. Ласковый длинный свет зеленого солнца припоминает им обещание не забыть твердый дневной ответ, холодный аспириновый глоток из высокой чашки набережной. Там, где песок встречается с землей, — и только там — бережная жалость украдет желтые монетки, брошенные ими со всех горьких перил, — и нет числа твоим ожиданиям. Узнавание — хрупкий предлог деревянной мокрой скамейки слева от тяжелой осыпи фонарного света, чьи запоздалые признания не остановят желтый запах причин и опозданий. Кто так хорошо разведал эти места, кто дал крапивным прикосновениям вырасти до синего цветущего укрытия, прозрачного и ясного растения долгих туманных дождей. Лишь они придут отыскать эту летнюю память, нечаянную заботу о том, где был твой карандаш и билет, проговаривающий дату отъезда. И тебе придется заплатить за то, чтобы вернуться, — соль и маленько огорчение, оставленное в другом городе на линии, где отслаивается поверхность.

* * *

Отчего же так трудно — бронзовый цвет утра связанный осторожно двери закрываются черный свист стрижей — а под крышей спокойно спит вечерняя рябина возле ее подушки — темная голова. Глаза привыкают вбирать свет — так ночь осваивает пространство одеяла, невидимое рукам и птицам.

Отчего же так трудно найти легкие листья крапивы дачное несовершенство недотроги презирает растущую на окне незавершенность божьего замысла. Что ей думать — название только слово сад звук калитка ступеньки к зеленой воде розовая кувшинка поиск дороги в которой она поможет продолжить путь с метлой в руках — дворник или ведьма. Отчего же так трудно запомнить дорогу назад.

Тебе нравится прятаться — клад, который все ищут, простому легче избежать воспоминаний. Теперь он будет твоим заклинанием папоротником ключом серебряным колодцем где плавают бодяги. В дождь легко говорить о несуществующем.

Ее легкое письмо так и просит обещания приехать в будущую пятницу на берег найти корабль и неторопливо отправиться на поиски. Пиратский флаг на том корабле и азбука Морзе развесила развеселые флаги по мачтам и вся пиратская азбука не стоит и одной мили пути к ней — серебряной чашке плавучей льдине медной цветочной террасы. Луна возвращается к началу пути — звон живущий в малой карстовой пещере.

Змеи обходят эти дороги, ведущие к лету, — тонким серым шнурком сшивают паутину, развешанную земляным жителем на просушку. В клове — радость капля воды (не пей, Аленушка, забудешь брата) — сон непуганных самолетов ночь зеленых ящериц — отчего же так трудно заметить то время пока еще теплая земля и желтое стоит на страже — беличьи кисти — праздник умчат с собой гулкие хвостатые звезды. К тем кто один — твое зябкое натяжение гремящий орешник любимый спор карандашей и ручек — жалость расскажет вечернююю сказку дочке и сыну. Вечерница сумеречница пересидит всех твоих гостей — зеркало копит слова и тайные — семь пар железных сапог чтобы найти себя.

Гвозди вбитые в берега мраморные кольца подземной горькой земли сжимают мертвую веретенницу — смутная зависть ко всем ползущим и падающим — там, в пещере на ровной колючей стене.

Радость раскачивать пешеходные мосты за спиной лишь воздух каменная память земли.

* * *

Сегодня я попрошу ее стать бабочкой. Мягкие серые крылья, дождевые глаза. Еще успеешь полюбить завтраших, еще рубашки привязаны к своим молочным рукавам там, где остегиваются быть хорошими. Чайная посуда сторожит свет лампы, тебя поймает про-

должение рассказа, мелкий садовый ветер, чья калитка еще открыта. Дождевые великаны дождутся раннего вечернего часа, тихо попросят уйти под крышу. Там ты попробуешь уснуть, вспоминая прозрачные часы, твердые орехи, серую большую реку. И если захочешь вернуться, твои глаза успеют увидеть темноту — ранние ставни, прощенные листья, брошенная в море земля. Спят твои земляные орехи, светлые норы и грустные серые бабочки — радость твоих примет.

* * *

Слово, которое превращается в ветку, в мир, приходящий и уходящий по своему желанию, где нет ни ветра, ни снега. Иногда оно становится рыбой и плывет, тяжелея. Все равно ты вернешься туда, в зыбкую дрожащую комнату, где выход воздуха сквозь окно.

И если ты повторишь ту же фразу о елке, то она теперь будет с золотыми ниточками канители, хотя очень хочет отрицать эти простые украшения и хочет иметь лишь весенние колкие иголки, дышащие холодным воздухом. И я замечу ее, стоящую чуть в стороне ото всех, и пойму, что между нашими иголками один воздух. И я вздохну спокойно, и чистое ожидание острых злых иголочек в том воздухе, который не виден — что-то опять происходит вне зрения. Их было, может быть, четверо, если начинается ветром это слово и след из реки по имени, где след всего лишь. И их было, быть может, только пять, из голоса происходящее число, где наскоро причесанная елочка. И букв хватает как раз на предлоги. Она думает, что знает все, а это все неправда, а это просто тщательно скрываемая обида.

* * *

Хватит ли тебе этого из ее рук — яблоко, сон вдвоем. И кто еще знает дорогу к тому времени посреди спокойной и терпеливой ночи. Где бы вам быть, вне какого дома, чтобы заставить забыть о происходящем случайно. Там, где сейчас молчит влажная и глазастая спелость травы, где в яблоко неспешно вживается червь. Там разрастается паутина длинного дня, что связывает прочные коконы бабочек, устало расположившихся под одной из досок террасы. Летний рассказ отличается от зимнего, и ты бережешь его, но не память, не звук, не голос. Так снег всегда бывает разным — твой европейский и ее — просто белый. Вот и выходит, четные дни рас-

полагают к занятиям, не обозначенным в настенном календаре. Упругие привычки сопротивляются постоянному нажиму, и карандаш ломается в самой середине твоей разгневанной фразы. Твои поспешные и слишком серьезные объяснения причин того и сего, и того самого ожидаемого и нежеланного не убеждают ни в чем. И ей захочется простого ответа — без оттенков — любого из возможных. Но ты промолчишь. А потом, во сне, она начнет находить буквы несуществующих слов, и разговор окажется невозможным. Убывая, зеркала теряют свое прошедшее время, уходя в безнадежность и вымышленность алфавита. И только взгляд — один на всех существующих языках — попросит о том, чего не было нигде. И что ты сможешь сказать своему небывшему, когда она станет всего лишь отражением, стоящим позади тебя в стекле ночного московского метро, лишь ожиданием в чужой темной комнате, где тебя почти нет. И ты попытаешься освоить еще один словарь, но все выскользывает и становится просто водой. И ты останешься здесь, прислонившись к двери этой случайной комнаты — тем непроизносимым молчанием, которое и есть ты.

точка равноденствия

* * *

Внизу — постоянно меняющаяся картинка, аккуратная и четко расчерченная Земля, которую скоро сменит ровная поверхность океана с плывущими по нему айсбергами величиной с карандаш или среднюю щепку. Потом подойдет черед облаков, в разрыве которых — ледяная кромка Канады со снежными горами и редкими реками. Америка закрывается от взгляда сплошной облачностью, как человек, у которого болит горло, а меда-то мы и не взяли. Внезапно и мы оказываемся под облаками, на термометре +60° F, дрожь то ли от холода, то ли от нервного напряжения. Безут по улицам и перекресткам странно знакомым. Вернулись в Москву. Но пригород заканчивается совсем не московским пейзажем, и водитель начинает считать: «Четвертая, пятая street... следите за номерами!» — чтобы не прокочить нужный коротенький квартал-блок.

Впервые ощущаешь Америку, когда попадаешь на Манхэттен в World Trade Center в тень скалистых небоскребов, отражающих друг друга и нависающих над головой. По нижней части Манхэттена ходишь как по ущельям — где-то далеко вверху кусочек неба (а в пасмурный день небо сливаются со стенами и его совсем нет). Лабиринт улиц размыкается во все стороны — к воде, где у причали стоят китайские парусники, или отходят пароходики к крошечному острову, где нет ничего, кроме статуи Свободы. А с Бруклинского моста в обе стороны небоскребы своими правильными пропорциями и отполированными гранями выглядят игрушками американского бэби или театральной декорацией.

Время бесконечно растягивалось и принимало форму скалистых островов с общим именем Нью-Йорк. Сны останавливались и продолжали стоять на самых интересных местах всю ночь, а утром двигались замедленно и плавно исчезали в глазах. Зрение убывало

и склонялось к той единственной точке, из которой вырастали контуры города — разные в различное время суток. Глаза не вмещали происходящих перемен, не успевая за взглядом, и многое, отпечатанное в глубине зрачка, на задней стенке сетчатки начинает проявляться только сейчас, как фон на фотографии. Горизонт упльвал, растворялся в океане, становился ненужной подробностью доказательства существования других берегов.

А в квартире на десятом этаже (Манхэттен) недовольно фыркает кот, делая немыслимые маневры, чтобы избежать пересечения направлений движения, или недоверчиво принохивается, оказавшись волей случая лицом к лицу (человек — на диване, он — на спинке дивана), и, возмущенно уклоняясь от протянутой руки, сбегает в одну из бесчисленных комнат квартиры. Вся стена одной из них уставлена стеллажами с книгами, их трогать нельзя — это знает крошащая улыбающаяся девочка, проползая на животе мимо — к своим разноцветным книжкам с твердыми яркими страницами в нише журнального столика. Вторая стена занята свитком с китайскими иероглифами (жена хозяина — китаянка), третья — окнами и диваном, четвертая — стеклянным кубом с меланхоличным спокойным удавом, который безмолвно и неподвижно созерцает окружающее пространство. Брожденная уравновешенность и сдержанность не позволяют ему проявить внешний интерес к чему бы то ни было, кроме мыши. «Baby and snake don't meet», — говорит хозяин. Baby продолжает восхищенно улыбаться, доедая овсянную кашу, snake спокойно выглядывает из сильных упругих колец собственного тела из-за толстого стекла, придавленного сверху гигантскими ракушками, металлическими дисками и деревянным крокодилом. Иногда удаву разрешается вылезти наружу, чтобы посидеть/полежать на руках гостя, стремясь влезть головой подмышку как в нору (нельзя подносить близко к лицу — может укусить, — предупреждает хозяин); или сделать змеиную зарядку, главным элементом которой является хозяин, держащий snake за хвост высоко над полом; или прогуляться в импровизированных городских джунглях, ползая по перекладинам деревянного раскладного стула, медленно и с достоинством раскланиваясь с собственным хвостом, когда встречается с ним при очередном изгибе черно-желтого сильного тела.

А в это время на другом берегу Гудзона, который виден из окон первой квартиры, крутой и обрывистый, с серыми гладкими скалами, в другом городке Хобокене и даже другом штате Нью-Джерси в трехэтажном домике, окруженном такими же доброжелательными

соседями, с еловым венком над дверью утро уже давно началось, и ночные обитатели укладываются спать. Жизнь здесь идет в двух направлениях — ночном и дневном, и жители этих направлений встречаются лишь утром и вечером — в погранично-нейтральное время суток. В крошечном садике со сломанной калиткой (а сломано здесь многое — дверной звонок, водопроводный кран; мы добавили разорения, сломав дверную ручку — дом немедленно отомстил — у одного из нас развалился ботинок) рядом с высоким крыльцом стоит хозяйствский мотоцикл (автомобиль припаркован двумя кварталами дальше — ближе нет места), на полке в прихожей восседают три разноцветных мотошлема. По скрипящей лесенке на второй этаж, куда выводят знакомиться темно-серую благородную свинку, которая вежливо откликается на собственное имя и ведет себя свободно, но изысканно, подтанцовывая на высоких копытцах. А в ванной в стеклянном шкафу маленькие полосатые зверьки с огромными пушистыми хвостами трещат как гремучие змеи, если неосторожно постучать по крышке их деревянного домика, и только ближе к ночи смущенно и настороженно выглядывают из норки.

А в нижней комнате на стене висит египетский папирус, в пристенке — герб Фостеров, на столе — миниатюра с изображением Дворцовой площади в Петербурге, а на тумбочках и столиках — фотографии и букеты сухих растений. Американский завтрак — кукурузные хлопья с молоком, стакан апельсинового сока — и на улицу к берегу Гудзона, откуда потом — огни Манхэттена, отражаясь в самой вечерней реке мира, мягко отодвигают границы дня до самого горизонта, все остается вокруг и по ту сторону, спокойно глядя в глаза, не поражая и восхищая, а стоя рядом и позволяя войти или наблюдать со стороны, приглашая и оставляя свободу твоего и своего выбора. Так спокойно и доверчиво засыпают дети — так город остается на расстоянии вытянутой руки — смотри, слушай, улыбайся — все это твое. Потом вспомнится как сон о времени, названном небывшим, откуда нет расстояний и часов, только длящееся сейчас, неуходящее сегодня, сбывающееся из той реальности, что неправдоподобна и мнимая.

Утренний Amtrack чуть-чуть запаздывал и, наверное, поэтому набрал большую скорость, следя изгибам Гудзона и пробираясь в глубь материка к небольшой точке на карте Америки, где соединились два названия — деревня Ред Хук (Красный Крюк) и Бард Колледж.

Так выглядит Новая Англия весной. Разноцветные аккуратные домики, большей частью двухэтажные, здание администрации

с большим красным крючком на фронтоне, чистенькие улицы и местные мальчишки, радостно кричавшие «Hi!» в ответ на улыбку. Комната на втором этаже гостиницы с камином, старинным буфетом, детской колыбелью, широченной кроватью и милым объявлением с просьбой задергивать шторку ванной, принимая душ, чтобы не затопить бар внизу. Возле окон — старые кресла, и можно представить себя Эмили Дикinson, выглядывающей из точно такого же окна в Амхерсте, чтобы узнать, не прилетел ли на соседнее дерево Robin и как поживаются Маргаритка и гусеница в саду. И прогулка по тихому и уютному сельскому кладбищу, зеленому от травы, белому от памятников, желтому от солнца и полосатому от американских флагов над каждым надгробием. Смерть здесь домашняя, спокойная и нестрашная, и американским покойниками здесь лежать радостно и светло — мирно. Кладбище окружает маленький церковный городок — для каждой конфессии своя церковь, а Бог один, поэтому не обижен никто.

А за гостиницей (напротив которой — чинное похоронное бюро) — маленький пруд, где возле берега на черной коряге греется большая черепаха, стремительно улизнувшая в воду при нашем появлении. И совсем рядом в крошечном лесочке круглая нора, куда спрятался крупный рыжий зверь, по предположению, лиса. И маленький магазинчик рыб и рептилий, где по аквариумам разгуливают лягушки, гекконы, черепахи и новорожденныйboa-конструктор толщиной в палец и длиной сантиметров двадцать.

Наутро в Бард Колледже долгие поиски печати для отметки командировки, и веселое недоумение американцев по поводу российского пристрастия к печатям и штампам. (Печать нашлась где-то в канцелярии и была поставлена, правда, не чернильная, а рельефная, оттиснутая на память и на листике моего блокнота). А потом классы в Бард Колледже, где бородатый студент Петр Тимофеевич (во время занятий русским языком студентам даются русские имена) переводил стихотворение одного из нас. И другой студент, Федя, написавший в дневнике, что он часто валяется на диване и ничего не делает и поэтому у него всегда не хватает времени, на вопрос преподавателя, что он собирается делать после урока, ответил «пойду к аду». «Пойти к аду» — «пойти к черту» — догадался преподаватель и резонно посоветовал Феде не делать этого.

Потом долгие поиски местного Бардколледжского водопада, о котором все слышали, но никто не знает дороги. И странная находка — на самой верхней точке водопадной скалы — заржавленный

железный орел, сиротливо сидящий на чем-то, напоминающем земной шар. И возвращение через студенческий садик, где установлено милое американское пугало с лицом китайского философа в джинсовом комбинезоне и цветастой юбке. Вечерний поезд вернул нас в шумный Нью-Йорк, в один из уголков Бродвея с монументом Данте, статуей Свободы на крыше одного из домов, ручными белками и ночными фонарями Street и Avenue.

В Метрополитен музей мы прошли по российским студенческим билетам за половинную стоимость, получив красные жестяные значки с буквой «М», которые все цепляли за края рубашек и курток. Американцы любят большие пространства. Так полон воздуха и света египетский зал с аллеей сфинксов, древним храмом и водопа-ем, по краям которого разместились каменные крокодильчики и отдыхающие туристы. Брошенные в воду монетки, поиски путеводителя по музею — немецкий, испанский, французский, даже китайский — русского нет.

Уютный китайский дворик, вымощенный крупными круглыми камнями и ступенями, ведущими в прохладную низкую комнату с тремя проемами, выходящими на сплошную беленную стену, на фоне которой растет тонкая трава с широкими зонтиками или узкими колосьями и серый овал или причудливый изгиб камня. Такие живые окна, картинки, кусочки из жизни, где под камнем, возможно, поселилась ящерица, а по стеблям травы проползает божья коровка. Летом прилетает ласточка и скользят ужи, осень приносит перелетного паука на прозрачной ниточке и миниатюрные озера в углублениях камня. Можно вылезти наружу и самому стать частью картины.

А в галереях Японии причудливо выветренные камни на резных деревянных подставках можно разглядывать часами, что и делают японцы дома по воскресеньям, а нам уже пора — скоро все это закроется на большой американский замок, или что там у них служит ключом и засовом. Надо еще успеть позаимствовать гладкий черный камешек из кадки с растением у бесшумного восточного водопада и сфотографировать длинный бумажный фонарик в углу проходной комнаты. По нагретым за день ступеням музея к дорожке Central Park, где неутомимые американцы все бегут куда-то вдоль длинного пруда, огороженного металлической сеткой, — чтобы не свалились? А вокруг зеленая трава, гроты, фонтанчики, бейсбол, белки, берущие из рук печенье, ручьи и небольшие водопады, мосты и мостики, камни, камешки, каменные глыбы и отдельные скалы. А мы — домой,

туда, где последний раз дадут подержать удава, потом — сабвей в туннеле под Гудзоном и неспешный шаг по тихому Хобокену к другому знакомому дому с неработающим звонком, откуда завтра утром (успев перед этим дойти до берега Гудзона, увидеть Манхэттен и небоскребы, бросить монетку с причала) увезут в аэропорт, по пути долго оглядываться на постепенно исчезающие башни и, когда скроется последняя, самая высокая после выезда с моста, понять, что так заканчивается Америка. А впереди будет аэропорт JFK, З терминал, подъехав к которому, Эд Фостер скажет: «*We did it!*», имея в виду то ли парковку, то ли конференцию, то ли конец пути. А мы пойдем в свой «Боинг», пробивать облака над Атлантикой и отсчитывать время, которое будет уже после, с короткой вневременной ночью над крылом и внезапно начавшимся московским утром самого длинного дня. И долго еще часы будут сообщать американское время, заставляя просыпаться нью-йоркским утром в хмурой Самаре и знать, что на другой стороне Земли сейчас всходит солнце.

ПРОГУЛКИ ПО РИМУ

Когда долго выбираешь, с чего бы начать, то начинать приходится с середины. С того самого моста, с которого уже брошены российские копейки в мутный декабрьский Тибр, который чуден и при не очень чудной погоде. В декабре в Риме идут дожди, вода в Тибре высокая, возле острова образовался порог, в нем крутит разноцветный мусор и огромные обломки деревьев, которые то и дело встают на дыбы и обрушаиваются обратно в воду. Рядом с нами завороженно смотрит на все это римский человек. Я тоже начинаю завораживаться, делая несколько шагов к краю, меня оттаскивают в сторону и за руку уводят дальше — день продолжается, Тибр остается сам с собой.

Дожди закончились в день нашего приезда. Когда выходишь из римского поезда, который довез тебя от аэропорта в центр, то солнце припекает макушку, и начинаешь постепенно раздеваться — сначала куртка, потом свитер, потом хочется снять джинсы и майку и загорать в обществе торговцев зеленью и елками. В первый день Город оказывается слишком обычным, слишком похожим на все уже виденные европейские города. «Я хочу домой» — вечером возле фонтана Треви. Ты молча ведешь меня дальше, туда, где прожектора установлены так низко, что подсвечивают только небо. Там — тот Рим, который скопирован во всех учебниках мира. Там,

внизу, в темноте светится ночь, округляя пространство до медленного подъема. Так холодные молчащие рыбы поднимаются на свет луны и блестят мокрыми боками. Ночная виа Номентана — долго-долго-еще-дольше, до тех пор, пока коленки не подогнутся у самых ворот нашего временного дома. Разглядывая ссадину на коленке, понимаешь, что вот теперь Рим тебя принял — падай, удержит.

Греция — воздух и небо. Рим — воздух, небо и камень. Камень молчит, когда идет дождь, Римский Форум уходит из-под ног, блестящий и скользкий — только ветер, примирение будет потом. Вниз по виа Сакра. Возле Колизея римские легионеры — в колготках, но без зонтов. Оставляем зонтики в корзинке у входа, мокрые следы, холодные ладони, по стенам — мраморные складки и волны. Вокруг и вокруг, вдоль ярусов, заглядывая в каждую арку и спасаясь от дождя внутри, среди серых каменных гигантских колонн и пролетов.

Декабрь. Спелют апельсины на Авентинском холме. Апельсины дикие, горькие, но есть можно. Едим, морщась и выплевывая косточки. Хорошо, что есть тот, кому можно сказать «ты». Все глубже и глубже — в века. Начинать надо с Возрождения, потом можешь не успеть остановиться — утянет разглядывать подробности где угодно, на любом сантиметре дороги. Падать туда, откуда не хочется возвращаться.

На одном из форумов живут толпы кошек. Объявление для посетителей: «Прошу не кормить кошек, они хорошо кушают каждый день». Вдоль перил по периметру, считая котов и котят. И правда — ухоженные и сытые. Спят, проверяют сохранность развалин, тренируясь в прыжках с одной колонны на другую, два серых котенка выбегают наверх, доверчивые и теплые. Зовут с собой вниз — там трава зеленее. Но мы — не кошки, на нас муниципалитет не выделяет продовольствия. Спокойная, несуетная жизнь. Ты устаешь ждать и уходишь в соседний книжный магазин, я — продолжаю счет. Не сходя с места можно насчитать штук тридцать. На форуме Траяна сделали ремонт, и кошкам там стало неудобно жить. Они ушли сюда.

В древнеримском театре Марчелло живут люди. «Я бы хотела жить там, но я не миллионер», — говорит наша спутница. Времени как уходящего здесь явно нет. Пространство освоено хаотично и небрежно: ему нетрудно, он еще слепит.

Утро начинается с «бон джорно!», вечер — с собаки, лежащей на пороге кухни — так ей удобнее, говорит хозяйка, — она всех видит. Самое раннее утро, пока все еще спят — с прогулки по балкону,

на котором растут лимонные и апельсиновые деревья, оливки и розы. Выше нас только небо.

Рим — вода, текущая просто так — везде. Фонтаны и фонтанчики. Набираем воды с Форума. Самая вкусная — из фонтана Треви. Срываем листья лавра с деревьев Форума. В конце этой аллеи сидит охранник. Но деревьев много, на всех хватит. Ты съедаешь круглый плод лавра, принимая его за оливку. Долго плюешься, ждем отравления или хотя бы расстройства желудка.

Тысяча мраморных обломков. Не рассуждать — просто смотреть. Хочется обнять каждый камень, каждую колонну. Можно греться на декабрьском солнце, разламывая последнюю самарскую шоколадку. Сколько дорог ведут сюда, если все дороги ведут в Рим?

Капитолийская волчица маленькая и незаметная. У Капитолия оцепление. Кого-то ждут. А где же гуси? Фотографируем вход в один из капитолийских музеев: там в проеме разлегся очень древний римлянин. Лестница к Санта Мария Арачели: 123 ступеньки к геометрическому фасаду.

Заросли кактусов недалеко от Аппиевой дороги.

Клепсидра пьяцца ди Спаньи продолжает отмерять капли римского времени.

В Трастевере всегда попадаем ближе к ночи. Узкие улицы, темный свет луны, витрины. Можно идти вдвоем, занимая всю улицу и уворачиваясь от бесчисленных мотоцилистов. Если раскинуть руки, то обе касаются противоположных домов, в окна которых лезут по стене ярко-красные Санта Клаусы. Уличные актеры изображают статуи: легче всего фараону, самый упорный — статуя Свободы, которая после трудового дня присела на бортик фонтана и пьет пиво. На пьяцца Навона рождественская ярмарка. Хочется стать итальянским ребенком — блестящее красное яблоко на длинной палочке, полосатые чулки с подарками, тряпичные куклы и другая разноцветная чепуха. Зимняя карусель. Улица-праздник: свисающие между домов гирлянды зажигаются одновременно. Жареные каштаны со вкусом печеной картошки. Давай заблудимся, чтобы долго-долго не возвращаться домой. Не получается: Город успел выставить для нас указатели: в этом киоске покупаем билеты на автобус.

Можно обходить Город бесцельно, не считая ни шагов, ни камней, ни античных колонн, встроенных в барочные церкви. С этой скалы сбрасывали преступников. Теперь там заросли лавровых кустов.

На пьяцца дель Пополо парочки сидят на мраморных скамейках и целуются. К ним пристает араб, продающий розы. Парочки про-

должают целоваться, его игнорируя. Приближается к нам: последуем их примеру?

Вечером автобус с пьяцца Венеция долго выбирается из переплетения средневековых улиц.

Железная дорога облезжает Везувий. Темно-серый и совсем не страшный, наверху — тонкая дорога к белому домику. Если он захочет проснуться, нас успеют предупредить. Это то самое место, где снаряд падает в одну воронку несколько раз. Помпей — камень и воздух, солнце и ветер. Здесь живут солнечные веселые собаки. Форум — место их прогулок. Жители Помпей — туристы. По ночам сюда слетаются призраки бывших жителей. Город не может жить без шагов. Что еще здесь остается? Память тех, кто приходит сюда? Или память о тех, кто здесь теперь всегда? Весь день — проводить пальцем по стенам домов, обниматься с бронзовым фавном, доедать римские бутерброды на ступенях театра, запивая римской водой. Хлеб и зрелица. Оступаясь с круглых каменных переходов — в Помпеях воды нет, только ее тени на перекрестках — пустые источники, сухие камни, облитые солнцем. Прозрачный воздух. На день куртку, — говоришь ты, — все же декабрь.

В Неаполе своя мафия. Но нас обманывают простые неаполитанские жулики в железнодорожной кассе. Обжуливают виртуозно и милосердно — всего на один евро. Пешком к Тирренскому морю, обратно — в полной темноте.

Город становится частью тебя. Все римские часы предусмотрительно показывают разное время. Но мы никуда не опаздываем, а город умеет ждать, предлагая темноту в спутники. Ты садишься в поезд, идущий до аэропорта Фьюмичино и начинаешь ждать возвращения туда, откуда еще не успел уехать.

ОПЫТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КИТАЙСКОГО [В]ХОЖДЕНИЯ*

Растерянность и плавность, как будто опустили в близкую воду и запретили закрывать глаза. Рыжие прогулки, воздух в воде раскрывается гладкими камешками, долго стоит в горле. Зрачки слишком тесны, заполняя все пространство зрения. Стараясь сшить

* Местоимение «ты» не всегда относится к одному и тому же человеку, а иногда и вообще относится не к мужчине. — Примеч. авт.

куски памяти, аккуратно подстриженные под размер твоего шелкового выходного платья. Катятся ржавые коляски, по ободу — сухая трава, крик петуха. Чернильные точки спрятаны в изнанке глаз. Медь, картон, сплетенный бамбук скрывают мятный вкус внутри. Полосатое солнце черешни, засыпанное еловым запахом. Слова плавятся, плавают, упливают по звонкой параллельной прямой — той, которая никогда не пересечется с твоей.

Китайцы в Китае бегают как большие тараканы — много, беспорядочно, быстро — так, что в глазах мелькает. Шумные, любопытные, бесцеремонные. Не стесняются простых житейских вещей — пописать на центральной площади, плюнуть на пол. Культ еды и пакикмахерских. Худенькие китайские девушки — тонкие и красивые. Прозрачный зеленый чай, как чьи-то глаза.

Урони, оглянись, оставь.

Шестилучевые, составленные на берегу, мост, сгоревший в прошлую среду. Обтекая колокольчик — тот же испуг, те же долгие уговоры — вдоль или вдаль, рядом — то же утро в глазах. Мелкая белая соль в рукавах и карманах. Отвези в горячей лодке на середину реки, простые разговоры о песке и чае, вечерние подорожники — уснувшие папоротники — дом остановился на середине. Черные блестящие жуки, круглые прозрачные муравейники. Куча бересты на лакированных крыльях божьей коровки.

Старые китайские кварталы — типичный чайна-таун любого европейского города, маленькая деревня, где вся жизнь вынесена на улицу или позабыта на ней — круг всеобщего изумления. Двери, открытые в ярко освещенные комнаты, где до самой ночи можно купить, продать, поесть, поговорить и многое другое. Детский столик под ногами прохожих перед фруктовой лавкой. Мама вместе с маленькой девочкой рисуют цветными карандашами — река, земля, большой цветок, похожий на все ромашки в мире. Выстиранное белье сушат, зацепив веревку за светофор. Два кресла на тротуаре — беседуют старик и просто пожилой — о чем-то житейском. О засолке капусты или видах на урожай риса, например. Тротуар — вместо гостиной, кухни, беседки, часто служит туалетом и помойкой, ино-

гда — спальней. Наверное, обитатели этих районов не очень бы поняли человека, проводящего вечера дома в одиночестве с занавешенными окнами. Эти странные, странные европейцы. Отсутствие понятия личной жизни. Останавливаемся и читаем латинскую табличку на дереве. Не успеваем отойти, как пятеро китайцев бросаются к этому же дереву — а что там вычитали двое европейцев. Что крестьяне, то и обезьяне... Нас с Ма долго рассматривают в кафе, но главное — не обращать внимания. К тому же английский здесь все равно, что китайский у нас — понимает один из ста. Вокруг нас — максимум человек двадцать. Такой минимальной возможностью явно можно пренебречь.

Кирпичные заборы, металлические решетки, натянутые сетки. Городские кварталы обнесены стенами. При любом удобном случае выходы блокируются, ворота контролируются, как это и случилось при SARS. Страна великих китайских стен...

На открытой самодельной эстраде перед библиотекой две девочки в белом поют что-то спокойное и печальное. Попса похожа в любой стране мира. Сразу после них — громкое, красное, горячее, сильное, упругое, молчаливое — почти египетское. Куча черных голов — толпа китайских студентов. Типичная девичья прическа — хвост, перехваченный на затылке.

Убирают только главные улицы. Все остальные — на совести их обитателей. Поздним вечером на тротуаре чайна-тауна остаются битые дыни, мятые персики, арбузные корки. Арбузы режут пополам и едят ложкой, не отходя от прилавка.

Постоянные любопытные взгляды. Каким, наверное, уродливым выглядит для них мое европейское лицо.

Дождь. Сохнувшие на подоконнике морские звезды. Душ — сильные струи из очень маленьких отверстий. Когда поворачиваешься спиной, то кажется, что тебя гладят чьи-то горячие руки... Огромная кровать, явно рассчитанная на троих, а то и на четверых худеньких китайцев. Спи. Завтра наступает через два часа.

Назывные предложения. Не хватает времени разобраться или просто внимательно рассмотреть. Пестрое мельканье, пронзительная речь. Где-то в этом городе ходит обиженнная Лей. Меня видеть не хочет. В руки не дается. Таких приручают долго и бережно, чаще

всего безнадежно. В любую минуту может уйти. Ну как сказать ей, что я ее не обижу?

Сопровождающие китайцы подчеркнуто обходительны и вежливы. Неуклонно соблюдают дистанцию — ближе полуметра стараются не приближаться, даже когда идем в толпе по улице.

Китайский ресторан. Отдельный кабинет. Три девочки, три мальчика, если можно так сказать про весьма плотного профессора. Пытаются есть палочками, вызывая всеобщий смех, впрочем, необидный. Предупредительно приносят европейский столовый прибор, наверное, стандартный для них, — ложку и вилку. Нож в него не входит. А ложка-то зачем? Хлеба нет. Рыбу полагается есть вместе с костями. Ем. Вполне съедобно. Свернутые китайские блины, брошенные в кипяток ракушки — только не это. «Я их жалею». Раковину ты потихоньку кладешь в карман. Состав каждого блюда объясняют — сладкая картошка, бобы и стручки, еда, у которой нет русских эквивалентов. Все накладывают себе еду из общего блюда и едят этими же палочками. Какой смысл при этом иметь отдельную тарелку? К концу вечера, впрочем, все так и поступают — с общего блюда прямо в рот. Я — тоже. Атипичная, блин, пневмония. Наверное, все китайцы болеют одними и теми же болезнями: вряд ли дома они едят иначе. Я — тоже?

Тихие, спокойные слезы. Короткое сожаление. О чём? или — о ком, оставленном в середине России?

Китайский человек едет на велосипеде с прицепом, в котором стоят две ржавые бочки, рядом на привязи бежит ослик. Позвякивает звоночек лифта — значит, кто-то приехал в гости. Пусть это будешь ты. Ни хао.

Город, как призрак, пытается скрыться в дожде, удаляется от взгляда, предлагая — небоскребы, железную дорогу, супермаркет. А мне хочется — песчинки, камешки, зрачки, близкое лицо на расстоянии шепота, изношенное кружево твоей майки. Проводя пальцем по позвоночнику. Ждать. Ждать. Ждать. Рисовать водой на зер-

кале загадочные знаки, слишком похожие на иероглифы, чтобы действительно ими быть. И отворачиваться, когда в дверь постучат, чтобы ты не смог догадаться, что происходит здесь в твое отсутствие. Потом случается ночь. По обе стороны — два неразвернутых шелковичных кокона, можешь выбирать — бабочка или шелковая рубашка. Спит, обмотавшись кучей блестящих ниток, пока на стеклах ночная роса не сменится утренним дождем. В руках — паутина близкого побережья. Смотреть, как молочник, ветер, дерево с табличкой «*salix babylonica*»; отламывать куски, смешивать крошки. Хочешь, я тебя пожалею? Отворачивается.

Хорошо иметь возможность закрыть дверь. Твоя комната — моя комната. Горчащее воздушное печенье, вкус кофе из твоих рук. Перепутанные волосы. Без оглядки — способом утреннего перемирия. «А ты — сможешь без меня?» Голова на плече, ты не станешь уговаривать. Пятнадцатый этаж. Праздник, лед — непременная сдача твоего совместного вчера.

Расстояние выбивается из-под ног, тянет веревочку, привязывает к жестяному отдалению, оправданному дождем. Можно привыкнуть, надеть местную одежду, стать таким же, чтобы успеть поверить — тебя нет. Цепочка горизонта болтается на запястье. Электричка по расплавленным рельсам, приходится опираться только на воздух, выдыхаемый спящим рядом с тобой. Пустые тарелки по утрам — оставленное молоко — дань тихим ужам, молчащим под бревенчатым порогом твоего дома.

Немые колокольчики, никто не пробирается следом, угадывая направление по брошенным хлебным крошкам. Ключи в руках, можно уйти, заперев дверь на два оборота, — обернешься, оборотишься, вернешься ли? — к исчезающему потолку своей готической комнаты.

Город разноцветных плащей и черных велосипедов. Дождь притягивает мостовые, и они, обнявшись, отправляются в ночь, умещаясь внутри промежутка между Европой и Азией. Возле острых и плавных надписей, вблизи незанавешенных окон и дверных проемов, пытаясь сложить из расписных иероглифов стилизованную

кириллицу или хотя бы латынь. Язык сопротивляется, и круглые звуки катятся по тротуару перед тем, как исчезнуть в ярко-красной темноте харбинской ночи. Стук барабанных палочек друг о друга — деревянные искры — ночь и свет — время, когда нечего скрывать — собирающийся заговорить дождь оправдает все рассыпающиеся горошины новоселья.

Украденный бамбук комкает время, лотосы режут его на куски мягкими и точными прикосновениями. Я не спрашиваю, когда ты вернешься — съевший лотосовый корень забывает прошедшее время, исчезает из глаз ищущих его, поворачивая ключ в замке, опасаясь вечерних прогулок — на том расстоянии, которое Одиссей называл островом.

Память полнолуния, серебряный цветок внутри стеклянного кувшина — так зацветает ночная вода, неуверенное прикосновение к тесноте воздуха. Подаренная красная коробка с отражениями луны — примерь воздушную оболочку — тебе здесь жить, укрываясь вон тем бледным облаком, пересекая залив на черной египетской лодке — вверх по пролетающей паутине ласковой воды. Дождь смывает все следы с песчаного зеркала побережья. Вода отражается в мостах.

Сирень начинает цвести второй раз. Ты отыскиваешь пятилепестковые, делишь поровну. Я тоже за справедливость. Сирень — цветок Харбина, береза — дерево Харбина, чем тебе не Россия? И куча других деревьев и кустов, у которых есть только китайские названия, переводящиеся на русский «здравствуй, весна», или другими не менее красивыми названиями. Все-таки древние китайцы были лириками и романтиками.

Что и остается — смотреть из окна на медленно приближающийся город, успокаивая себя тем, что голос не слышен внизу, и можно бормотать славянские молитвы, да придумывать обереги и руны для той, которая осталась в западной стороне света, на станции метро «Чертановская».

Пустая раковина. Простуженный город, мятная карамель набережной — двойной пунктир пешеходных мостов. Искривленное

время продолжает бездействовать, заполняя пустоту разворачивающихся суток. Пространство крошится сдобным печеньем, его склюют осторожные белые птицы, прилетающие на берег залива за ежедневной морской солью. Глаза, опущенные внутрь горизонта продолжают странствие вдоль мастерских китайских каллиграфов — черные кисти — красные слова — летящие в ветре фонарики — слива и вишня облачного испуга. Провожая воду, гладить вдоль спины черного жестяного жука, смущенного растворяющимся песчаным миражом. И покажется, что начинаешь различать западный и восточный ветер, обнимающий тебя и щекочущий под коленками травой и ресницами. И раковина покорно раскрывается под его горячими пальцами — слизывать мел и уголь юрского периода. Сжатие слишком упруго и невесомо, чтобы нести его с собой вдоль обыкновенного путешествия, взяв лишь банку с водой и ежевичным вареньем. Расскажи ему все, что ты знаешь о нем и его звенищих приключениях, — он подождет в каменной бухте рядом с заснувшим кораблем.

Горячие буквы, поднесенные к губам, смелость приоткрытого рта, плавится язык, не успевая затвердеть, речь скатывается тяжелой ртутью в открывающийся слух. Ты пытаешься выровнять и сгладить — мелкие блестящие брызги — украденные глагольные раскаяния — так учит тебя Восток — подставленные ладони наполнены воздухом.

Мелькают перед глазами — холодные и твердые, влажный огонь — черное дерево — блестящий мед — развернутый рыбий скелет. Пустота под камнем, красные сны, желтые совиные гнезда.

Город цветных одежд, плавающих листьев, пыли, углов, локтей и коленей. Острый и плавный, обиженный и радостный, доверчивый и хитрый.

Мастер аппликаций — желтые буквы на красном фоне — государственная каллиграфия — продолжение устава КПСС. Мальчики в пятнистой форме — армия должна быть послушна. Особенно уродливы тонкие девичьи фигурки в не по росту подобранный форме. Армия должна быть покорна. Что они думают, выкрикивая слова в ритм шагам? Кузнечики? Сломанные веточки? Аппликации на сером асфalte волейбольной площадки.

Раскладывать поперечные слова, чтобы понять, с какой стороны поднимается луна на этот раз. Перед глазами продолжают кружиться мосты, пешеходы и резкие звуки автомобильных гудков. Улицы, предназначенные для пешеходов, коих великое множество — целый Китай. Никто никому дорогу не уступает. Прав тот, кто быстрее успеет, — пешеход перебежать дорогу или водитель нажать на клаксон. Но ездят довольно медленно, так что риск быть задавленным небольшой — либо затормозят, либо испугают гудком. Умение лавировать. Полицейский на краю тротуара безучастен — его дело стоять, опустив руки по швам. Улица с высоты второго этажа автобуса. В ответ на бесцеремонные взгляды хочется рассмеяться и посмотреть на реакцию.

Осень слышна только ночью — когда жители спят. Можно ли здесь услышать падение желтого листа? Пока звучат только одни цикады — отражения лета от воздуха и дня, пыльного и душного.

Наивные боги. Хочется, чтобы любили так — красный цвет, пышность и яркость — не все ли равно медному истукану? Сделай-те мне красиво. Каменные львы и черепахи — красные банты на шеях, колокольчики, притягивающие ветер внутрь своей земнойпустоты. Вечный звон. Через полчаса хочется зажать уши. Нос черепахи отполирован — такое простое ожидание счастья. Рука, послушным отражением тянется к черепашьему носу — погладить — будет теперь и у меня счастье. Разве не положено оно православной христианке? Будда благосклонен и безучастен, взгляд — мимо, не обращая внимания. Молчащие краеугольные камни восточных религий. Кто же из нас разберет, куда потом деваются жертвенные яблоки, персики и бананы. Дым от тлеющих палочек — в небо — любому богу, хоть египетскому — там они разберутся сами. Красное преследует, не сопротивляюсь, убегающий — куда? — вернется к тому же — иначе здесь не получается. Деревянные колонны, крашеные потолки: кармин, охра, синька — четкие контуры, горящие краски — оттенков и плавности нет — резкая смена цвета — до боли в глазах. Пестрота и доступность — сцены из жизни праведников. Мы с тобой не праведны, и не правильны, и не правы.

Расстояния нет. Без пауз и промежутков — резкий отрыв и начало следующего. Как им удается не смешиваться? И как тут возможна близость — в сплющенном исчезающем пространстве, недоста-

точном даже для полноценного вздоха. Сжатое внутри себя существование. Цель, круг, замкнутая прямая — символ невозможности.

В океанариуме маленькие изящные акулы стального цвета. Долго провожать взглядом уверенное хищное совершенство. «Злая она». «Скорее равнодушная. Совершенство безразлично и холодно». Переплетенные кольца мурены, явно страдающей ожирением. Серебряная завеса из воздушных пузырьков перед тем, как впустить в гигантский аквариум аквалангиста и стилизованную китайскую русалочку. Не дракона же, в самом деле, туда запихивать. Глаза тонут в рыбьем беззвучном шорохе, и только мокрые тюлени беззастенчиво выпрашивают у посетителей подаяние — купите рыбку за юань — схватит на лету — как и не было — слогнет не прожевывая.

Бесконечный пунктир пешеходных прогулок. «Отсюда сможешь дойти до кампуса?» «Нет». — «А отсюда?» — Нет... Перевернуть страницу дня, оставить место для покупки блокнотов, кружек, сувениров. Каменный рынок — агаты и прочие незнакомые камни, начиная от сантиметровых до сокровищ огромного размера. Посмотрела бы я на китайца, в спальне которого мог бы стоять этот вертикальный метровый каменный фаллос... А сзади уже сигналят — пространство, не занятное китайцем, сразу же занимает автомобиль. Задевая плечами, дверьми, велосипедными колесами катится харбинская улица, расставляя на перекрестках торговцев маленькими зелеными дынями. Никто не прячется даже в себя. Попробуй, поставь между такими стекло — осколками засыпает по пояс.

Китайская еда — ее слишком много. Порции такие, что хватило бы половины. Брать в сотрапезники кого-то из китайцев?

Темнеет рано — в восемь уже поздняя ночь. Во всем Китае единое время. Светает тоже рано — часа в четыре, а город, кажется, просыпается еще раньше.

Темные и удивленные — вечные глаза города, неопределляемый ритм сердцебиения. Пульсирует по всему телу. Какой палец уколот булавкой всеобщего любопытства? Расскажи о себе, придумай сказку получше — нет ли у тебя веретена, пряжи или холста — прясть и распускать, пока беспечный Одиссей проверяет терпение, сотканное его супругой, на морскую прочность кораблекрушения,

отмерив расстояние по шкале Бофорта, остановив солнечные часы на блюдечке античного полдня.

Ветер раскачивает красные бумажные фонарики. Ожидание — вечернее или утреннее — спокойно переместилось из одного города в другой. Звякает лифт, я приучаю себя узнавать твои шаги, и каждый раз ошибаюсь с ответом — перец и сахар, перевернутая кулинария, сдвинутый вкус — сладкая картошка, пресное пирожное, ложка в кармане сумки. Сядем напротив, обменяемся тарелками, вкус воды между нами. Ты сможешь разглядеть меня оттуда?

Возможность обходиться без глаголов в течение дня. Спички, вино, сигареты. В собеседниках — зеркало, не лучший союзник, но другого взять негде — хоть такой черный человек. Голос событий, пепельный след в раковине морского моллюска. Не перебивая, слушает смутный и пасмурный ответ многоточия, пересчитать пуговицы на твоем платье — не успевая их расстегивать, запутаешься в собственных волосах. Что нам до правильных и аккуратных, когда заплаканные глаза вровень и без испуга — только изумленное медленное узнавание вдоль тела сквозь кончики ресниц. Кто пойман, кто уверен — методом бездорожья по прогибающемуся позвоночнику, запинаясь на слове, выговаривая влажными губами упирающийся ответ. Куда прилетит твоя шелковичная бабочка? Голос внимательного лабиринта — я захвачу с собой клубок. По окраинам вздоха, минуя центр, полярный круг, мельничный жернов. Ночь в глазах. Растирая обе.

«Вставай, чего ты ждешь?» — «Поцелуй». — «Но я же целовал тебя вчера вечером!» Сжатая пружина, готовая распрямиться для стремительного укуса. Слезы змеи — медленный красный яд. Там, за очками, — ненакрашенные ресницы — можно плакать долго и подробно, минуя синие скамейки, по белым плитам утреннего поздравления. Сомнение — тревога — уверенность — этого не стоило бы делать. Незажженная сигарета, невыпitoе вино — неправильно расположенный способ уйти. В дым или сон? Холод накопленной влаги, дрожь голоса и губ — теперь ты умеешь прятать и это. Просто там — дальше — другое скользящее произношение, не разжимая губ и рук. Я вернусь, если даже это не сможет повтор-

риться никогда. Проходящие мимо, сидящий спиной задает вопрос, обернувшись: «sorry» — улыбка, смех — пустая скамейка. Возможность отрицается не менее важной возможностью. Утро, начавшееся с испуга, закончится каменным гладким спокойствием. Упругость и надежность такого умения.

Раскрашенный выходной. Она ждет тебя в разности нашего времени. Хорошо, что ты можешь немедленно отодвинуть меня, не дожидаясь согласия, не требуя примирения. Упорное вычитание, маятник не будет ждать, выводя на дальнюю улицу в поисках оставленных шагов и неизбежного завтра. Память горизонтального существования. Как иначе можно произнести слово «ухожу». Дальше — только гладкость картинок на стене, отодвинутый оклик. Поздно — она не обернется. Узнай меня по родинке на коленке. Замерзшая скамейка, распространяет иней сидящая на ней. Хватит, чтобы заморозить только себя, все остальное вокруг — горевать и пугаться — движется, перечеркивая время совместного длинного существования.

Поспешность отчуждения, холод воскресений и праздников. Плач по тому, кто оставлен на мосту — испытывать пустоту на прочность. «Вдруг не будет ночи у нас». Или это время, чтобы увидеть?

Гибкие китайские дети. Асфальт пружинит и отталкивает. Ладони, стертые в кровь. Маленький семейный скандал — плачущий мальчик, ударенный отцом по лицу за отказ выполнить гимнастическое упражнение. Дальше — нельзя — перешагиваешь границу личного отчуждения. Плач — как крик, как заклинание — рыдающее скандирование. Опора на то, что становишься здесь лишней, не пропустив момента, когда еще можно уйти незамеченной.

Китайские бабки-ежки — мусорщицы (цин дзе гун) — на лохматую метлу привязан рыжий бант, оранжевая короткая хламида, кепка и платок поверх нее. Все по отдельности выглядит почти прилично, но собранное возле одного человека, далекого от элегантности, создает впечатление этакой болотной кикиморы — сейчас гикнет, вскочит на метлу, — но нет, слишком уж потерянное существо, лишенное права даже на этот немудреный древний ритуал. Никого не пугает — никто и не боится.

Подаю подаяние — русской мелочью и конфетами. Человеки с тачками — развозят мусор, подавая знак о себе деревянным сту-

ком о дно перевернутого ведра. Девочка с белкой на плече, замурзанный ребяченок. Во дворе пожилой китаец в майке долго роется у себя в ширинке. Терпеливо жду, что же он мне покажет — вынимает небольшую пачку денег. Так вот откуда берутся юани!

Кругом драконы, львы, китайцы. Первый китаец с усами, девушка занимается стиркой белья прямо на тротуаре перед своим домом под портретом какого-то Джеймса Бонда. Бедная деревенская жизнь. Ей так не кажется. В тачках везут разный хлам, — с моей точки зрения, конечно, — гнилые доски, грязные мешки, пустые пластиковые бутылки, дырявые матрасы. Радость жизни: «Я накопал хрену!» Минуту спустя: «А ты не знаешь, что из него можно сделать?». Запасы впрок даже того, с чем неизвестно что делать? Двери раскрыты на улицу — вся жизнь на виду — что им скрывать. Воскресенье — стирают, жарят, моют посуду — помои под ноги — люки сточных канав всегда открыты. Запах бедности и сырости. Бесцеремонность китайского «Hello» — значит, хочет чего-нибудь продать.

Крутящийся фонтан — извивающиеся водяные змеи сплетают воздушные арки и веера — восточный танец под музыку Сен-Санса. Водяная музыка утекающего времени. Клепсидра недолговечных и хрупких острых капель — как поцелуй после единственной ночи — легкий, исчезающий, неуловимый вкус чужих губ.

Синхронное покачивание красных фонариков — ветер тоже хочет извлечь свою выгоду. Самые маленькие одеты в штанишки с разрезом — все хозяйство наружу. Один такой протирает пол книжного магазина. Рядом — лужа, сделанная, возможно, им самим или таким же собратом. Вас бы — голым задом да на каменный пол.

Плавающее расстояние китайского расхождения, висячие мосты пеших совместных прогулок. Вдоль по сломанному берегу Сунгари, по его леопардовой стене, обходя дерево, найти толстую зеленую гусеницу, осторожно гладить ее шершавую спину. Тоже брыкается, хочет укусить. Я зову тебя с твоего расстояния — ты оборачиваешься, машешь рукой, смеешься, обманывая бдительность осторожного дневного наблюдателя. Движение руки в твою сторону, пойманное случайным взглядом — вдоль позвоночника — вниз — тайное прикосновение к ключице. Повторяй — я не увижу. Голос оборотной стороны молчания. Цветочный рынок — бамбуковый рай. Китайская трава-недорога. Пальцем вдоль самой середины листа —

теперь по его позвоночнику — в чем заключается ваша очередь? Лист медленно складывается пополам. Так же и ты сводишь лопатки после прикосновения. Выпрямленная спина бамбука. После этого трогаю каждый похожий лист. Не сворачивается. Можно купить корень лотоса и помочь ему зацвести. Говорят, что твой лотос засох.

Голоса китайцев — резкие, громкие и звонкие, иногда слишком крикливые. Твой — глухой, спокойный и плавный. Печальное изменчивое лицо, нервные движения рук. Порывистость, стеснительность. Идти и насвистывать что-то китайское, положив на макушку свернутую куртку. Невероятная наблюдательность и тактичность. Мгновенная прозрачная красота, возникающая, когда ты решаешься засмеяться. Говорят, что легко обижаясь. Но это — если обижать. А если легко и ласково — то при чем тут обида? Рука в руке — способ стать ближе. Ты ведь не обиделась, правда? Маленький кузнечик, ломкая змейка. Хорошо бы спеть тебе колыбельную. Когда-нибудь.

Хочется медленнее — как можно медленнее. Упрашивать? Возражать, когда мельканье становится невыносимым? Мимо — все четыре часа — мимо. А кто дает разрешение, позволяя остановиться? Местность расступается, пропуская, а хочется, чтобы обтекала, перекатывалась через голову. Теплая рука — чье оправдание? Пока лишь вопрос — ответит ли? Слишком неизбежным оказывается совпадение во времени — ты опаздываешь. Голос лишнего пространства — след от лодки — бесполезная акустика. Рыбья чешуя сквозь звенящий колокольчик. Этой дате дать вынырнуть потом в золотоволосой памяти. Настоящее приходит слишком быстро — ты тянешь за руку с обжитой зеленою скамейки, где только-только пространство сделало попытку прикоснуться, — теперь бы заметить, чувствуя затылком ладонь, спускающуюся все ниже и ниже, но ты — ждешь. Я не могу сказать «нет», не обидев, поэтому поднимаюсь, обрывая, сминая и выкидывая — видимо, навсегда, и иду за тобой на тот остров, по мосту, который, быть может, поможет связать, привести, спасти. Возьми меня за руку там. Я прячусь за очки, ты протягиваешь руку. Летний дворец, Храм Бога Литературы. Вода, падающая навзничь, — лотосовый пруд — зеленый движущийся свет вокруг головы — правильность и аккуратность? Сквозь камень — пристально и серьезно, держась за ветку ивы.

Смотреть друг на друга сквозь лотосовый пруд. Зеленые круглые чашки, подставленные ладони — падай, удержат. Однако я не Дюймовочка. Выловят — заругают — зачем разрушила гармоническое китайское удовольствие. В центре — капля воды — тяжелой ртутью склоняет лист — высохнет, выпрямит, воздух поможет. Вянущий лист скручивается в вертикальную упругую трубочку — висит на стебле полумесяцем — древнекитайский свиток с неразгаданными письменами лотосовой легенды. Гладить лотосовые листья, как твой подбородок рано утром — легкая шершавость от краев к центру. Музыка капает. Жестяные трубы, подпирающие стволы сосен, стеклянный домик для белки. Что тебя ждет, если перескакет дорогу китайский воробей? На газоне табличка — две босые ноги зачеркнуты жирным пунктиром, издалека похоже на перечеркнутую змею — змей не выгуливать? Или — не наступи на змею?

Трогать колючки можжевельника, подносить запах к лицу. Драконы на крыше, как слоники на комоде. Лотосы мягкие, пухлые и растрепанные, забирают у воздуха воздух. Их глаза открываются потом, когда облетят лепестки и останется только зеленый дырявый раструб — горлышко детской ляйки. Пахнут легко и растерянно, принимая твоё лицо внутрь звенящего розового падения. Красные деревянные перила, каменное острое спокойствие охраняет лотосовое молчание. Здесь добывают корень лотоса, чтобы ты забыл долгий прошлый опыт и остался рядом с ней надолго. Не возражай. Это придумано правильно.

Время исчезает, и оказывается, что дождь пробивает дырки в деревянной крыше и скатывается к ногам. Каллиграфия. Что он написал — типичный древний китаец? Сухой и длинный. Морщины. Светло-желтый халат. Возвращение, вспышка, взаимное спасибо. Он остается в своем домике на Сучжоу-стрит, а мне потом не позволяют фотографировать уходящие и кружащиеся ворота. Вода тихо скрывает листья и прячущихся в них рыб. Маленькие зеленые черепашки, как креветки, и черные тритоны на рыбном рынке. Рыбий владелец разрешает взять в руки одну из черепашек — щекотно в пальцах — убегает в толпу таких же, как она. Как теперь различить при встрече?

Косточка от сушеної фиги, о которую сломался мой зуб, брошена в китайский цветочный горшок. На будущий год вырастет. То-то удивятся китайцы. Зуб положен в китайскую мусорную корзину.

Над ней произнесено заклинание: «Мышка-мышка, возьми молочный, верни постоянный». На этот заговор выскочил бурундучок.

Оперевшись спиной на крашеный столб, сидим, вытянув ноги, на деревянных перилах друг напротив друга с китайцем — я пью воду, он — наблюдает.

Обойти вокруг Фарфоровой Пагоды, предварительно пролезть через дырку в решетке, убедившись, таким образом, что я не толще китайских девушки.

Действительно, отдельно, действительно, врозь. Вода не выдергивает — становится льдом — попробуй теперь, растопи ее теми случайностями, которые случаются случайно, и чем дальше, тем они случайнее. Лотосовый круг, голос цикад, опоздание на ушедший автобус — туман Летнего дворца застrevает в камнях, скрепленных цементом. Летучие мыши над берегом, выше — только ласточки да воздушные змеи. Какую лодочку приготовил для нас Харон, уплывший на середину озера? Каменный корабль сменил золотые колеса на деревянные. Дырявые доски, камень молчит.

День четвертый. Очередная скамейка — блестящая, стальная на остановке 709 автобуса. Попытка выговорить по-китайски название моего отеля — что-то вроде «си йю». Не успеваю — подходит автобус — великое путешествие к Великой Китайской Стене начинается. Тучи велосипедистов, все китайские мужики едут и ходят с ключами на поясе — у каждого штук двадцать, не меньше. Чего им ими запирать-то, какие китайские сокровища? Мальчик, продающий лотосы. Покупать себе самой? Мой спутник не догадывается. Дарят лилию — отдаю Лей. Ей нужнее. Как иногда осточертевает необходимость быть мудрой! Летний дождь возле маленькой русской речки. Ты приносишь бутылку с водой — вымыть мне ноги после песка. Две пары рельсов — одна с каплями дождя, другая совершенно сухая — только что прошел поезд. Я, к сожалению, забывать не умею.

Китайские иероглифы — большие насекомые — кузнечики, бабочки, богомолы или глубинные обитатели моря — планктон при чудливых очертаний. Автобус сворачивает с главного пути, кондук-

тор в клетчатой рубашке начинает что-то темпераментно объяснять пассажирам. Те послушно выходят. Сломался? Хорошо, что не успели отдать юани. Автобус уезжает в какие-то промышленные ворота за шлагбаумом. Клетчатый с пассажирами чего-то ждут. Явный турист в соломенной шляпе вполне сносно объясняет по-английски, что автобус должен вернуться минут через десять. Минут через сорок, действительно, возвращается. Путешествие продолжается.

Поезд приходит поздно вечером. Утренний звонок мало помогает. Ты отказываешься, предполагая внимательные причины. Китайские церемонии разводят нас внутри одного и того же воздуха. Здесь тебе не Россия. Попытки совместного дыхания не удаются. Прячась в стекло, сворачивая отражения в мягкую бумажную трубочку. Можно держать дождь в руках. Поезд приходит без тебя.

Ощутить движение времени сквозь себя — не смыкающееся за спиной, а проходящее насквозь в узком окне высокой башни, с которого бесцеремонно сдернули, руководствуясь чрезмерной заботой о моем здоровье. Слезы не успевают упасть по ту сторону Стены. Замерзание. И ведь не объяснишь, почему. Состояние постоянного короткого замыкания. Почти без голоса. Мягкая вода в синей бутылке. Приходится локтями защищать собственное пространство от непрошенного вторжения. Через плечо — обычные советы. Ну как тебе сказать — здесь я хотела бы остаться одна!

Завтрак в гостинице, обед и ужин — горсть ментоловых леденцов и пакет сушеных фиг. Что тебе прошептать в неглубокий колодец, когда ты, раскинув руки, бежишь вниз в оранжевой рубашке? Каждой бойнице сказать свое слово, может быть, она сможет услышать и вернуться туда, в непрекращающуюся древность.

Сначала под ноги камень. Увеличенный до плит. Растрескавшийся правильными линиями на квадраты. В черно-белом, скорее, рыже-сером варианте. Сжимается в точку, уходит на окраину зрачка, потом всплывает из той же точки, занимая половину горизонта.

Пыль, осыпь, наводнение травы, сухая, стертая геометрия. Лицо с такими же серыми резкими линиями, в которых тоже пыль. Смутная улыбка, узкая тяжесть внутри каждой выцветшей грани. Сгущается в шаги. Слушает. Выпевает короткие имена. Чья речь приглашает их в свою горталь? Две тысячи вздохов внутри, и дальше — вперед. Стекая и карабкаясь. Перед глазами — выгнутое пространство посреди раскрывшегося темного океана, зажатого складками гребней. Усталость камня и кирпича. Земля, растущая из земли, древесина, трава, стекло и песок. Вращая панораму близких гор кружасшимися башнями внутри низких сводов. Прямая, раскрошенная под ногами, сжатая крест-накрест по периметру. Go on! — повеление, уходящее вдоль более глубокого повеления. Королевские почести идущему пешком. Тебя задержит, остановит срединное царство подробностей, ускользающих в гибкие и тесные трещины, узловатые или скомканые развилики пути. Равномерное серое пространство. Вверх, спокойно и ровно. Почти равнодушно к вторжению маленьких ярких муравьев. Дотронуться, унести, задержать, примирить свое нетерпение с шершавым и снисходительным. Тебя окружает твое мнимое опоздание.

Потом твое движение становится движением дороги, вычеркивая собой горизонт. Гигантская змея, уползающая в глубь земли. К округлому и прохладному. Уводящая в другую графику — одинокого, пустеющего молчания японского сада камней, который будет завтра.

Муравей взбирается по руке все выше — его китайская стена. Где на всех набраться маек с китайскими надписями. Вдоль тишины вылез зверь — хорек, помахал хвостом, пошевелил траву и сбежал вниз в свою звериную мягкую жизнь. Песок и земля — ты машешь мне с другой стороны. Черные бабочки внизу под стеной. Теперь — в обратную сторону. Бледное солнце, горы в тумане, кружасшиеся башни, осторожные шаги. Попробуй еще раз, пока ты одна, и никто не заглядывает через плечо. Поцелуй на самом верху правой стены под взглядами назойливых торговок всякими сувенирами. Ты на самом верху лестницы. Прячу блокнот. Очередное «Hello».

Ты уходишь дальше — к ее разрушенной части, где медитирующий смотритель стены, поставил свой стул в пространство, с которого открывается самый красивый вид. Решетка заставляет тебя повернуть обратно. Кто-то считает тебя завоевателем?

Воздух влажной рубашки прилипает к телу. Пекин большой и квадратный. Много пешеходных мостов, тумана и смога. Дышать тяжело, солнце — размытым круглым пятном сизого цвета пытается пробиться вниз, к земле. Можно смотреть, как на луну, не защищая глаз. Вода висит в воздухе, ее ощущаешь всем телом.

Старые пекинские кварталы постоянно сносят. На развалинах — вонь, груды мусора. Китайская улица, если это не лавочка и не парикмахерская, — глухая стена, окна выходят внутрь узкого двора — едва разминутся двум людям. Иногда совершенно невозможно разобрать — жилые это дома или какие-то промышленные цеха — голое однообразие окон, тусклый люминесцентный свет, всеобщий неуют. Везде, где можно и нельзя, висят гирлянды искусственных цветов — в гостиницах, городских автобусах, в маленьких магазинчиках. На велосипедах — нет. Китайцы любят яркое, цветное. Могут надеть желтое, зеленое и красное одновременно. Раскрашенная внешняя жизнь. Чтобы не так тоскливо было жить в домах без занавесок? Это для них нормально? Некоторая деревенскость, община — даже в большом городе. Девушка на пекинском тротуаре моет голову, женщина играет с котом, кот привязан на цепочку — иначе съедят?

Бей-хай. Прыгающая мячиком речь. Кормление красных рыб с мостика — хватают ртом воздух и чавкают, как маленькие водяные пороссята. Пруд одинокой красной рыбы. Серые крыши, воробышные следы. В глубине одной из галерей — китайская женщина производит руками в воздухе какие-то ритуальные движения, пристально вглядываясь вверх, на потолок, видимо, следя небесным указаниям. Выходит оттуда — в руках веник — небесный начальник приказал смахнуть паутину с потолка.

Большие бабочки, запаянные в прозрачную открытку. «Студия ясного зеркала» — вытаскиваю зеркало, крашу губы в цвет одинокой красной рыбы. Дальше — пруд одинокой зеленои черепахи. Под дождем — вверх к Белой Пагоде. Дождь почти отвесный, ворота и арки защищают. Музыка везде, но не оглушает, просто она есть, как свет и день, — привыкли к этому. Китайцы ходят и поют. Музыка, как и религия, — красивая, плавная, кружевная, в рюшечках, разноцветная и печальная.

Лотосы уходят спать. Рыбы качают длинные водяные стебли — укачивают. Кто споет им китайскую колыбельную? Круглые ворота, расписные окна, длинные крытые галереи — пестрое небо

древних сказок и легенд, озеро подталкивает в спину двенадцатью пролетами моста. Шипение в телефонную трубку — теперь и это не для полярной змеи. Украдено? Или просто отдано, не задумываясь? Можно быть и полезной, но вот не хочется уже — только ужалить, но и это нельзя. Только принимать, накапливая очередное молчание.

Подойти, взять за руку — не отвечает, молчит, попытка поймать взгляд, потом — проследить за взглядом, ускользает, но не уходит совсем, ладонь теплая. Уже здесь, но еще не со мной. Пока рядом, хорошо, что не отнимает, — разрешает. Подаренная глиняная игрушка — водяной свисток. Так я буду звать тебя из России? А ты услышишь? И ответишь ли?

Да-лянь. Человечек со змеей. Так меня учат распознавать иероглифы, пока автобус продвигается сквозь дождь к местному океанариуму. Сыро и холодно — мокрые руки и ноги, зонт протекает, в сумке — тщательно укутанный свиток с бамбуком — зря, что ли, рисовал его какой-то китаец. Кружение рыб, кораллов, крабов и всяческих патирий. Любопытные тюлени — круглые черные глаза — совершенно собачий взгляд. Друг против друга, одни черные глаза — в другие, сидя на влажном полу, протянув к стеклу руки, — в ответ осторожное привыкание — мало ли тут ходят всяческих китайцев с их узкими глазами, а ты кто такая? Зовет остальных, это еще вопрос, кто кого рассматривает. Над головой — акулы, рыбы, двуспальное одеяло ската. Если разбить стекло — затопит с головой — только ахнешь, а рыбы и этого сделать не успеют — разве что гигантские черепахи.

Ракушки на пляже. Солнце. Спешное переодевание, и туда — в море, океан. Чуть-чуть штормит, мелкое побережье — долго идешь по пояс — дно поворачивается к земле, длинный отлив, ты ловишь креветок в остающихся лужицах, камни впиваются в подошвы — игра в замри — умри — воскресни — волны не слушаются, ты — тоже. Не уходи слишком далеко — потом не поймаешь. Слова, как воздушные змеи, повисают на проводах. Два поезда увезли меня от тебя. Утренние телефонные звонки — не здесь, не ко мне. Успевала ли ты запоминать? Светит зеленая надпись «Exit». Потерпи еще немного — уже скоро. Тебе останется чуть больше времени, чтобы сказать осторожные слова, если не захочешь — мо-

жешь не возвращать. Закрывая глаза — короткое звенящее имя — ты сможешь прийти завтра?

Путешествие в сон заканчивается падением. Ночной Далянь копит свет и собирает воду с южного побережья. Лодки опрокинуты, в руках — сети и ветер. Четырнадцатый этаж, под подушку — лист гингко. Вот тебе и Япония.

Многострадальный правый опять попал в мазут, на этот раз китайский (во Владивостоке полчаса сидели на берегу, выковыривая его из рифленой подошвы моего ботинка). Ты пишешь мне: «солнышко мое». Солнышко. Радиоактивное.

Низкий туман. Верхние этажи небоскребов завязли в нем. Вечером на главной площади Даляня — ежевечерние народные гуляния. То ли танцы, то ли ритмическая гимнастика, вроде нашей летки-енки, только каждый отдельно. Движения пластичные и организованные.

Толстые кисти с длинной ручкой, квадратные плиты мостовой — прочные листы, ведерко воды — все, что надо пожилому китайцу для обучения каллиграфии. Вода на плитах испаряется не сразу — на одну, не очень длинную китайскую фразу вполне хватает времени и воздуха — а потом можно начинать сначала. Учитель поправляет, ученик рядом повторяет опять и опять. Интересно, как можно угадать характер китайца по почерку и есть ли у них свойственный? Наклон, способ написания — канон для каждого иероглифа свой. Каждая надпись — картинка — смотри, думай о чем-то. Прописи китайской жизни — как правильно оживить палочки, черточки и точки, чтобы они заговорили, — медленный нажим, быстрый росчерк умелой руки — сохнущие водяные знаки — читай, воздух.

Платья у невест разноцветные — голубые, красные, зеленые — везут на берег Желтого моря, где местные фотографы усаживают их в стандартные китайские позы. Женихи в это время моют ноги в море. Невесты заходят по колени в воду, не снимая свадебных босоножек, и с полными песка туфлями отправляются в ресторан, или куда им следует следовать. Это тоже Китай — большая яркая бабочка, плохо умеющая летать.

Рыбья бухта — смотритель моря с транзистором в руках то сидит на деревянном стуле с высокой спинкой, то ходит вдоль бухты и что-то орет на тех, кто заплывает или нарушает, по его мнению. Пророрал что-то совершенно китайское и грозное и тебе, пытающемуся спуститься в глубокую песчаную бухту. Не на того наткнулся — когда ушел к своему стулу, ты быстро спустился, собрал ракушки и быстро вылез.

Морской отлив обнажает серые камни, к которым прицепились крошечные литторины. Китайские люди бродят по берегу, собирают их с камней и тут же поедают сырыми. Смотритель не мешает — это разрешено. Мальчик ловит креветок в бутылку — хочется думать, что есть не будет, — отнесет домой в аквариум. В детском желтом ведерке с морской травой плавает большая патирия. Облака снижаются, рыбаки вытаскивают полные сети тумана.

Край притягивает. С этой высоты можно падать вниз головой — каменное спокойствие примет и тебя, как морскую звезду, пойманную рыбаками и выброшенную на побережье. Будем влезать на скалы и спасать громадных красных патирий, лежащих вверх животом. Жалко, не видит хранитель моря, куда мы влезли — погнал бы на своем китайском языке китайскими ругательствами. Туман плавный и подвижный. На большой высоте видно, как он вылетает от моря и тянется к скалам и выше — к воздушной территории самолетов. Большие желтые цветы, дикие лилии — можно подносить к лицу, можно зажать в кулаке. Дикая даляньская кошка — осторожная и спокойная, мягко смотрит из зарослей. Ущелье, заваленное мусором, вода не может унести, даже добраться. По сухому водостоку — вниз, в следующую бухту, собирать морских гребешков, съеденных китайским населением. Скалы остаются с туманом. Ты бросаешь вниз камень, пытаясь определить расстояние. Рыбак на противоположной скале грозит кулаком — не распугивай рыбу. Шторм приносит скатов и медуз.

Китайские рыбаки чинят сети. Разломанный баркас на берегу, соломенная шляпа, упавшая со скалы, поднятая тобой и положенная на камень — может, отыщет себе нового хозяина — ловца рыб и трепангов.

Вечером даляньские мужики выходят гулять в традиционных вечерних костюмах — брюках и майках на лямочках, которые мой спутник, по ассоциации с трусами, назвал семейными. Праздник

вечерней улицы — садки с рыбами, ракушками, гребешками, литторинами, черепашками и прочими дарами моря, — все живое, шевелящееся, в нем роются китайские люди и уносят домой, чтобы съесть. Ты хочешь купить нескольких крупных черепах и выпустить их в море.

Смотрительница вокзала выстраивает багаж путешественников в одну прямую линию у их ног — потом ходит и любуется — порядок. Следующий шаг — рассаживать пассажиров по росту, цвету одежды...

Воздушный мост построен, можно идти с обеих сторон. Слишком праздничный Далянь, душный и влажный Пекин. Невнятная хроника моря, зеленого, вопреки названию, шуршание ракушек. Ты трогаешь губами соленую пыль на руке — еще не запрещенное движение навстречу, вдоль протянутых ладоней — вглубь, к самому темному потоку крови, — не боясь сорваться с туго натянутого горизонта. Начнешь ли оправдываться — южная речь закрывает глаза, темные ресницы, прозрачные камни, круглые ворота ждут тумана, вместе с песком вползающего в гору, туда, где рыболовные крючки, шипящие жалящие камни, подкрадывающиеся под коленки.

Горло квадратных фонарей сжимает темноту, разворачивающуюся из твоих ладоней. Карантинное измерение температуры, падающий ртутный столбик, карманные сверчки внутри спичечного коробка. Где оказалась твоя ошибка, когда, открывая двери, выкатывается плотный шар воздуха, — две рыбы задыхаются на песке — черные острые камни перекатывают волны во рту Тихого океана.

Вдоль разноцветной жизни, вокруг стеклянного шара, возьми ее за руку, выпей мягкой воды, известковые капли притянут пролетающих черных бабочек, летучих мышей, воздушных змеев. Фонари отражаются от моря, луна израсходована наполовину. Время думать об отъезде. Крадущиеся листья, море раскачивает и бьет о камень — держись за воду, пережидай беду на острие вечернего отлива. Горизонтальный свет расходует движение внутри замедленного голоса, идущего навстречу берегом ракушек, солнце поймано в сети.

Стирать и плакать. Поздно становиться Пенелопой. Зацепившись за серебряный крючок утягивать сети в мраморное море. Зачем тебе эта золотая рыбка? Там ждешь ты — возле круглой большой воды, по ветреным улицам, в облаке твоего сигаретного дыма —очные поцелуи с запахом табака, утренняя зябкая клубника, спящие не расскажут о пути, проделанном улиткой — бабочкой-светлячком. Теперь рассказывай ты.

Стены общей памяти, отводя руки в сторону — улетая или защищаясь — проходит все дорожные развилики и дворики — карта календаря всегда с собой, путешествуя по отмеченным черточкой дням, переворачивать солнечные часы по берегам улиц, принимающих твои шаги, — медленная забота рыбых речных фонариков. Прежде чем отказаться — испугаться, стоя спиной, выдыхая окраины глазного dna. Постарайся отправиться следом за последней опечаткой речного камыша. Волосы крест-накрест, уходить, не взяв ничего, — вряд ли будут искать там, куда успеешь. Все иероглифы — заглавные, уползут, украдут гребешки, дверные указатели, замочные скважины, огонь от потухшей спички — не спрашивая возражений, не отыскивая деревянных китайских палочек — тысячи дре-весных барабанщиков, сотни каменных мостов — радость бамбуковых лодок, парусный разговорник летучих мышей. Спешит, укачивая травинку, — в сон, в понедельник, твое дыхание зависает по окраинам — не дотянуться, губы продевают путь вдоль закрытых глаз, внутри — расползающаяся пенка кипяченого молока. Расплети волосы, завязки фартука, эхо водостоков и лестничных спусков — там, на воде — марлевая повязка бессонницы. На двух половинках грифельного цвета — не бойся, не буду плакать — руки свободны, можно не выбирать — спокойное привыкание — я смогу обойтись без.

Львиная вода, зябнущие фонтаны, ты всегда приходишь с опозданием, окно закрыто, словари выговаривают английские извинения. Что нам с того? Убежим вместе от этих веснушек. Я проверю на вкус и потеряюсь в той дальней раме — два синих пятна, поиск возможных возражений — здесь ты оставишь меня одну — расстегивать разноцветные надписи, разгадывать выдохи кирпичных заборов вокруг — сон так сон — пусть умещается как хочет, теряя ориентацию на ласковом побережье.

Так бьет вода — сильно и точно, не давая вздохнуть, — возьму только одно движение большой стрелки, только одно отклонение маятника в северную сторону дня — чтобы не возвращаться потом — дальше ты сможешь сам. Я никогда не бываю права?

Память скольжения — круглый вечер, в земле высыхают ракушки. Остаться здесь, пока ты хочешь этого, — потом уснуть — прогулки по траектории воздушного змея — потрескавшиеся губы — соль и пепел — не трогай, не оборачивайся, не оброни — каменные журавлики свивают свою неподвижную спираль замкнутого неба. Голос отражений высыхает на стекле. Виноватый плач раскосых глаз. Она выдержит — окаменеет вода, станет льдом. Мало желающих раскрасить тело змеи — гуашь, акварель — роспись до первого дождя. Ты вырезаешь надпись на коже, следуя изгибам вен — аккуратная садящая дорожка твоего присутствия. Не бойся, путешественник, — до сердца еще далеко. Голову под подушку — слушать, как скребется мышь. Что в этом китайского?

Трехдневный маршрут, елочные поперечины на стекле вагона, время собирать дикий мед с каменных ульев островов. Ртутный паровозный гудок. Флаги на бамбуковых палочках. Закрылись в туалете и съели тропический фрукт дуриан. Вентилятор героически гонял всю ночь запах из одной комнаты в другую.

Город невыплаканных слез, сломанных зонтов, вечного вечера. Кажется, что звонок телефона сможет пробраться и в сон, чтобы увести тебя и оттуда. Черная карнавальная ночь, тебя сдует с подоконника и понесет над городом еще одним праздничным воздушным змеем, выкрашенным в цвета китайского государственного флага. Эта жизнь навязчивого повторения. Ты упускаешь время для испуга, завтра я перережу нитку, связывающую тебя с землей, — плачущая вода — ей не больно — тебя не заденет — просто пройдет мимо, коснувшись плеча дождем. Можно погладить, можно отпустить — глажу и отпускаю — уходи не задумываясь — город, пригород, блестящий южный виноград, больше не снится твое лицо.

Лето сгущается. Страшно выпустить из рук. Возносить молитвы компьютерному богу, связывающему меня с тобой. Маленькая желтая галерея рисунков на PostIt. Твой стикер — последний в последнем ряду — закрывает угол экрана возможного города.

Ныряю, как рыба, в распахнутую глубину столовой, опережая взвод зеленых черноголовых человечков в пятнистой форме, — делить свою порцию китайской еды с тобой. Вяз, ива вавилонская, черный тополь. Чудная картинка — девушка в военной форме играет на скрипке, рота солдат старательно выпевает мотив. Армейская музыка?

Вниз — вдоль того, что в Харбине называется речкой. В России бы такое засыпали песком и землей и сделали бы клумбу. Здесь течет, радуясь своему совершенству. Все имеет право быть.

Зеленый домик, поющая вода, цвет растворяет голос. Этот телефонный звонок не украдет тебя сегодня вечером, разве что гость задумает написать картинку на стекле, открывающемуся на улицу — на радость начинающемуся дождю. Жизнь, подчеркнутая красным карандашом.

Как угадать тот момент, когда можно взять тебя за руку?

Медленный разговор на языке любви. Твои глаза слишком тесны, чтобы суметь выбраться со дна. Окружение окружает, можно ли разделить это разделение. Попытка звенит в ушах, комкает шаги. Кто первый ответит, кто подаст руку над голосом. Как упросить себя, чтобы глаза напротив? Как я смогу узнать тебя завтра? Ты выбираешь возможность. *Science of love*. Ты снимаешь очки — в незащищенность глаз. Аллея влюбленных позади главного корпуса института. Жалко, что мой китайский бой-френд именно сейчас занят. Как раз свободна одна скамейка, охраняя личное пространство, положенное тебе и мне.

Китайская оса запуталась в волосах. Зачем так много слов, начинаяющихся с «L»? Ты так часто повторяешь *yourself*, что я начинаю сомневаться, правда ли это. Медленное падение в не слишком жесткий опыт. *We have different traditions*. Смог бы ты там, где никто не смотрит, выбирая прикосновение, осторожность, изучая линии ладоней, те же слова внутри замкнутых рук, медленное кольцо — можно ли так приблизить прикосновение. Это не попытка, это опыт близкого пространства на краю спрятавшихся глаз. Горячее молоко для моего простуженного горла — это не SARS — ты смеешься. *Red fish, black fish*, чтение по губам, не желающим приближения.

Каменные рыболовы на середине моста, расстояние выдоха — можно ли быть ближе. Hand in hand, eyes in eyes, lips in lips. Остановка. Дальше не разрешено. We have different traditions. Пространство личного отсутствия. А теперь я пойду самой длинной дорогой, чтобы дойти до тебя вовремя по линии наибольшего сопротивления. Мимо главных ворот, придерживаясь обещанного опоздания.

Мир, разобранный до кирпичей. Что для тебя счастье? — спокойствие. Блестящие водяные шары, подойти, обнять круглый подстриженный куст, погладить по жесткой китайской макушке. Попытки античности, провал в бездорожье. Камни расправляют складки своего прошлого. Вздыхают. Взбирающийся по телу орнамент. Посреди реки Сунхуацзян в зарослях травы пасутся два верблюда и один верблюдик по колени в воде. Пассажиров довозят до них, выгружают, сажают на верблюдов, а сами уплывают? Множество местных харонов зазывают на свои суденышки. Лягушки в сачке, цикады в маленьких плетеных корзинках. С травяным кузнецом в руках в поисках приличного льва.

Пятнадцать минут, чтобы дойти до любого места. Учусь улыбаться из-за ограды, поверх острых столбиков жестяной загородки — кого из них можно впустить внутрь, не опасаясь местоимения. Приучаясь ходить совершенно по-китайски — лавируя между авто, пренебрегая правилами и распорядком. Над высохшей рекой, заглядывая в круглые низкие окна в надежде увидеть хоть лягушку, пересекая сомнительную местность, — смоет дождем ржавые муравьиные пятна. Память уверенно спешит — вчерашний маршрут, предлагая себя в спутники, неосторожность фотовспышки. Пусть он будет пустым за разноцветной изгородью. Помахать отражению в воде, бросить корм креветкам — мелкая водяная живность, маленькая печальная жизнь. Дождь в глазах пруда, каменная рыба на каменной воде. Можно идти дальше — с двух сторон смотреть на короткую двойную радугу. Желтые глаза напротив темноты длинного вечера. Рыжая кошка между деревянными прутьями. *Panthera pardus*. Проверь каменную стену на вкус. Камыш, бамбук, зеленые корзинки — и так до вечера. Мангровые павильоны. Одинокий саксофонист, парень с девушкой поют «Yesterday».

Фотографирую китаянку (потом оказалось, что кореянку) у входа в ресторан. Терпеливо и спокойно ждет, почти не шевелясь, пока найду нужный ракурс. В ресторан не зовет. В ответ на мое «сие-сие» — застенчивая и грустная усталая улыбка.

Пугает невозможность раствориться в толпе, затеряться. Звенеть ключом о металлические шары решетки. Я тоже умею быть не здесь. It is not correctly. Возможно, мягче уже не бывает. Что сейчас ты думаешь обо мне? Что качается в твоей черной голове, чьи волосы становятся все короче? Только потом понимаешь, о чем следовало бы говорить. То, что вокруг, — не позволяет, раскрашивает смешные картинки. Мои попытки остановить, твои попытки продолжить. И почти безразлично, кому что удастся. Правы оба.

Зеленый паук на твоей рубашке становится причиной и поводом начать рассказ о венском шоколаде. Можно замкнуть и это кольцо, срывая длинный острый стебель, приближая его к твоим коленкам, но ты встаешь и уходишь — к западным воротам, к своим красным фонарикам и вечерним занятиям. Дальше мне не позволено. Приходится сворачивать на незапрещенную территорию — к зеленым бамбуковым стеблям в банке с водой, к звенящему лифту, собранной сумке. Разноцветные погремушки настоящего времени.

Размытость наших прогулок, жесткое солнце — что можно здесь сделать неправильно? Учить себя гладкости непредусмотренных опозданий? Рано вставать и поздно ложиться? Сны абрикосового дерева, ломкие змеиные шаги к центральным воротам, круглые запястья, жесткие волосы, твои руки без колечек, линии ладони уводят тебя к бару с лотосами, к бару с аквариумом, к ленивым снам и пчелиным гнездам. Красные загадки week-end'a, промокшие сандалии, удалось ли тебе дойти до него? Или ветер унес твоего воздушного змея? И цвет глаз не увидишь с такого расстояния. Если ты вспомнишь, то как расскажешь потом о пути по краю вечернего горизонта, внутри двойной радуги простуженного дня?

Такое привыкание, что отъезд кажется совершено невозможной реальностью, но ты торопишься, и последний день оказывается не медленным прощанием, а поспешным бегством. Отражаясь в блестящем шаре — я никогда это больше не увижу. И ты, остающийся здесь, тоже оставлен — разговаривать на чужом языке, приучая сло-

ва к себе. Какое из них окажется безопасней? Травяной кузнецик высохнет в твоей комнате, станет сухим и ломким, цвета ненадежной осени. Подари его кому-нибудь, уезжая. Вдоль северного полета пчелы за медовым укусом — лекарство от пустоты и зимнего равновесия звезд. Сжатое сожаление раскручивается, пространство увеличивается, ключ оставлен на столе, местность сокращается, становится точкой, поставленной в середине рассказа, стремительно удаляется — механический сон взлетающего самолета.

Память — уронить, память — поднять, я обязательно споткнусь на этом слове. Ты скажешь, что нельзя выбирать, я постараюсь поверить, но твой отъезд заворачивает воздух в плотную желтую бумагу, и чтобы разорвать ее, надо отойти и придумать другие способы существования вне, которые ты никогда не заметишь. Пожалеть и отпустить — в каменное «не знаю». Пространство ее шагов оставляет тебя на поверхности. Уголки расплавленного стекла — попробуй, расскажи заранее, о чем ты не сможешь ответить «да». Опоздание равно опозданию.

Самолет проводили две китайские стрекозы.

Час лету — и в вечернем Владивостоке отбываюсь от аэропортовых таксистов, упорно желающих отвезти меня «прямо к подъезду». Интересно, к чьему? После похода к станции электрички со своей китайской сумкой дрожат руки, ждать еще целый час — «не идет электричка железная». Местные жители — странного вида молодежь, весьма пьяноватая, но ведет себя скромно. Пытаюсь не думать о том, что оставлено там, всего в пятидесяти минутах полета. Отрывать билетные корешки, прятать ладони в песок, отказываться от взаимных предложений. К китайцам на улицах Владивостока относишься как к родным. Обойти вокруг подводной лодки, посмотреть на корабль с именем «Галя», искать глазами китайских мусорщиков. Сидеть на морском вокзале и смотреть на залив, который остается здесь. Море — в ракушках, звездах и в том, что здесь называют морским мусором, увозят с собой курортники, покупая его в сувенирных магазинах. Мое — самостоятельно найденное, частью оставленное в Харбине в ящике твоего кухонного стола и на

подоконнике, частью разложенное по безопасным местам моей сумки — увидит другую страну, разойдется по разным хорошим домам и людям, будет жить у другой большой воды, сохраняя соль и ветер приморского города. Ты вдыхаешь его на ночь — пусть приснится шторм и дождь, каменные русалки в бухтах, соединяя Далянь и Владивосток, — одна в море, другая на каменном берегу. На двери написано: «Выход от себя». Легко же можно уйти от себя во владивостокском морском порту. Это и называется «как в воду кануть»? Бомжиха говорит своему бомжу: «Ноги-то у меня не комортабельные». Вокзальные уборщицы, собираясь мыть вокзальные полы, набирают воду из вокзального фонтана.

Поезд начинает движение на запад — в объезд гор, сквозь призраки убегающей воды. Пересчитывать водокачки, качающие воду в темноте. Август. Начинают желтеть березы и чернеть подсолнухи. Расходящиеся железнодорожные мосты Транссиба. Шесть суток молчания — это ли для меня предел?

Твой снежный наст, ледяной дворец, скрипачки и парадные входы, охраняемые львами. Кто поможет тебе уравновесить твои дни и ночи к началу октября? Осталось научиться долго ждать с закрытыми глазами или сменить это ожидание на очередное молчание, или прочерчивать на карте маршруты следующего лета. Разгадывать таблички на домах, придумывать свои названия, все равно иначе для тебя они станутся безымянными: бабочки, кузнечки, пляшущие человечки — мудреная и наивная клинопись. Ожидать сопротивления, а когда оно не наступает — пугаться и придумывать причины и следствия. Ловить дымные фигуры — солнечное расстояние располагается на их верхушках. Камни, подсолнечник, черные и белые колючки на кустах винограда, где прячутся улитки в самое темное время года. Жестяные развалки в глазах — время начинает растягивать расстояние для воспоминания.

Семь часовых поясов, плетеные корзинки, лес располагается на против — выучивает обратную сторону радуги. Я привыкаю — день осторожно прибавляет часы, отпуская после вокзального мокрого пейзажа. Так происходит складывание букв в неопределенные частицы, сравнивая пути прохождения воздушной непогоды. Чайные домики, прохудившиеся блюда, летучий восточный цвет — ты даришь

мне красную майку, прежде чем ответить на согласие. Поспешное спасение к длинному неостанавливаемому вечеру, сквозь пепельный разговор, остающийся в раковинах ракушек. Когда меня здесь не будет — можешь прикладывать к уху поочередно — вместе со своими морскими секретами выговорят и мои. Можешь не принимать все-рьез их болтовню — брось в море — вода размоет до неразличения согласных, оставив ауканье и другой детский лепет сомневающегося словаря. Открой буфетные створки — длинный воздух Японского моря достанет тебя и здесь. Потом расскажешь, как это получилось в этот раз, когда глаза слипаются, и ветер разносится только внутри, не тратя времени на приближение. Вода и свет. Легкое искушение забраться с головой в полынь. Голос выбирается из плотно сложенной бумаги, направляет темноту. Дальше можешь не слушать — лед успевает пробраться под кожу — оставь его там до утра.

Желтое и красное — цвет твоей страны. Щедрость обычного времени, когда никто не стоит за спиной. Радость осторожного расхождения. Цвет, кажущийся белым, если нет другого. Громкие стены, острые расстояния — голоса продолжают прибывать, оставаясь на месте. Пересчитай окна, дворы и лестницы в книге окон, дворов и лестниц. Место, которого нет. Разглядывать зрачки внутри других зрачков. Попробуй узнать и выбрать те, что смогут выдержать рядом. Потом настигает и возвращает в двойном размере полного раскаяния. Ты остаешься вне, по ту сторону стеклянной границы, прибавляющей расстояние для отъезжающего. Не плачь, это еще не уход.

Стать китайским мастером каллиграфии — тушь и кисть, черным и мягким по белому и шелковому — писать тебе длинное неразборчивое послание. Мне бы хотелось увидеть тебя на льду Сунгари, пройти с колокольчиком сквозь тысячу дверей и ворот, посмотреть на тебя через расписные окна Летнего дворца и дойти, наконец, до Белой Пагоды, спрятавшейся от меня за дождем и решетками. Ты — съешь корень лотоса, ты — вырастишь из него цветок, ты — погладишь его листья рано утром. И если ты — это не только ты, а несколько близких и дальних светлячков на ночном побережье или фонарей, разбросанных внутри города, неважно, как он называется, — Москва или Харбин, то я непременно вернусь к одному из этих «ты».

способ произнесения

* * *

Когда видишь такой красивый, хорошо заточенный карандаш, даже жалко становится за его красоту, остроту (остроту), ненадежность и пугливость. А в магазине рядом с твоей остановкой продают «зубные счетки», так что, если желаешь пересчитать кому-то зубы...

Потерялся кипятильник, укусы падают с потолка, и бананы по-прежнему везут из Петербурга, чтобы еще немножко продлить лето. Измеритель температуры зарос мхом и паутиной — это такой уровень лета. Грамотные люди пишут больше и быстрее, а для меня изобрели особую бумагу с линиями и строчками. Попробуй тут не ошибись. Всю жизнь думаешь — как бы да как укусить, а уж кончилось. Можно грызть камушек или уголок от комода — скажешь так и правильно поступишь, вода ведь самый слабый зверь, не то что сфинксы — песок да камень; и уйти от нее проще, не оборачиваясь, капли высохнут, а песчинки спадут, особенно если быстро и не раздумывая. Вязнет и тащит только слепой или не оттуда.

Кто знает, где бы здесь остановиться, если бы уже в поезде не поставлены точки на карте — внешние линии диктует город и навязывает свое настроение читающему мемориальные доски на зданиях. Речь и письмо становятся текучими, начинаясь с любого места города. Каким бы ни было утро, ночь опять принесет зависть белых корабликов, плывущих от моста к мосту. Бумага продолжает тратиться, надеясь только на карандаш, и телеграфные бланки — самый удобный способ напомнить о себе спокойному городу.

Местами море переходит через мосты, другие способы передвижения ему неведомы. Увозящие и уходящие поезда своими металлическими лицами удивляются частому и непроизвольному переходу на ять. Ночью город не спит, сворачивая улицы и разминая радиусы. Случайное слово — эхо продуваемыхочных улиц.

И если ты думаешь, что подарки делают просто так, то — ошибаешься (заблуждаешься, неверно судишь, неправильно думаешь и вообще — фигушки вам). И почему ты ни разу не подарил мне карандаш? (Не намек, а растерянно разводя руками.) Буквы становятся все мельче, уходят к тому, чтобы стать точками — самым маленьким знаком препинания (спотыкания, падания и расшибания лба) — удаляясь, падая и расшибая лоб.

Оказывается, это просто был столб, вот так, сходя с троллейбуса, свалится на тебя и придавит поперек живота. Как бы тебе сказать, что поезд — животное доисторическое и пугает только комаров в ржавых от холода сетках. Радость — змея уползает в пыльный уголок дивана и вечерами пугает проходящих пауков. Вода становится водой и уходит из рук. Пыль карабкается на глаза — уплатить по счету, красивая бабочка, их величества пирамиды. Где же взять Бога, кому принести жертву — такие караваны идут каждую ночь. И совсем не обязательно связывать воду в узел — сама научит и откажется. Близко подойдет в защищенных тапочках. Морским носорогам свойственно не замечать людей, но ты-то — главный ценитель мостов и подводных плаваний — разве не умеешь говорить, стоя по пояс в воде. Где обратный берег, где длинная впадина от его тела? Какого цвета он сейчас камень? Разве убежишь от таких, дружа только с водными часами. Самое важное сейчас — удержаться и не пририсовать ему хотя бы усы. Возможно, это будет лето или маленькая белка. Куда ты съел мои орешки? — считает она и делает вид, что здесь не ты, а некий деревоизделий памятник отцу Федору или хотя бы грустному зайцу. Если и убежишь, то не торопясь и бросая в воду фантики от конфет.

* * *

Тайна может быть лишь печалью — такие границы устанавливают сам приходящий. Поезд только помогает зрению, скользящему в тихом воздухе октября. Мерным блеском проворчit бревенчатый желтый край некоторого песка или выпавшего из рук. Кто увидит твое лицо, если оно закрыто руками. Как дать тебе яблоко, если заняты руки твои — делами, маленькими карандашами, черными земляными орехами. Это только печаль дает глазам отдохнуть у истончившегося горизонта. Кто-то находит только имя — у ветра или зеленой юной крыши. Возраст — только примета, только начало ответа, только выдумка и только утренний предлог для печали. А море ждет всегда на другом конце, как отпечаток зимнего противостояния, холодного — смотри — вверх, почти по периметру или

дальней ночи, приходящейся на лунный календарь. Так начинается начало. Так проходит та боковая дорога, что ничего не обещает, а только гордится своей ответвленной сущностью.

Что может узнать грифель из написанного им — только память неровного упругого нажатия, оболочка воздушного пузыря, рыбий ответ воде, тайна, морока, зависть, наваждение, причуда — выбирай, какое нужнее окажется потом. Может и будет еще зеленая ряска и мутная вода. И как хорошо, что уже не можешь сказать яснее. Даже если захочешь. За расстоянием покажется незаметнее горчичное зерно, а однажды окажется, что вернувшийся — не встречен. И разве это вина? И тот, кто возвращается всегда другим, не ждет узнавания и просит верить на слово. Тогда захочешь обернуть взгляд — внутрь, где осталась вторая половина, пароль, бородка ключа от уже несуществующей двери, завтрашний суд и помеха, уттара и растворенная соль и сон, сон, сон.

Часто бывает довольно увидеть. Слово уже не держит, становится слишком весомым и ощутимым. Одна надежда — увидеть то, что есть по ту сторону слова, если его не произнести. Частые чайки, бумажные птички, кораблики на ветке — как угадать его, так и не сказанное. Как бы не умалялось, а все же — молочные реки, чернильные берега, не пей, Иванушка...

Слова обозначены датой, письмом, уходом, лишними жестами и виноватостью. Может тот, кому не хватает возраста на лед и усталость, и поймет, как сказать ему об этом, но кто поможет позабыть потом, и как отойти, не обидев, не тронув руки, закрыв глаза, еще и поверив — во благо.

Ночная сторона ночи, и как оборот пластинки — 33 в минуту — самый медленный режим, когда можно еще успеть расслышать неспешащие голоса и разобрать слова. Середины не хватает, когда речь заторопится, глотая слова, и все равно — не успеет. Речь разбухает, прорвется молчанием, долгим взглядом сквозь огонь, только ему нужен воздух, а вода сама приходит из земли. Простые вещи расходуются до середины.

* * *

Пляшущие ручейки, неясные воспоминания, горчичные (горчишник, горечь, зерна или именинная травка горечавка), все уместилось и осталось лишь в скобках и в уме. Воспоминания как восхождения из дальнего в дальнее. Ну что поделаешь, там был не ты, и пришлось вернуться.

Приходящее на ум вернулось из имени, обещая спрятаться, когда будут раздавать подарки. Все ни о чем и все о тебе. Так этого ли ты хотел? Кто расскажет это потом, уж если не помог карандаш, а все они друзья и знают друг о друге больше, чем мы о них. Такие дела, что приближение растворяется, и не найти уже обрывков, веревочек, легких праздников в полете бабочек. Ночь расходуется. Провожать не надо, теперь можешь говорить, что это не так.

Пока это всего только убывание, ненавязчивое и несерьезное подозрение о неправильности речи и мельканий в глазах.

Мир лжет или пытается лгать, надеясь не на избавление от грехов, а на невидимость обратного взгляда. Мышь не обещает, а лишь существует, и почему-то хватает только ее пребывания. Ее отдельный свет не радует, забиваясь в траву, а лишь не сопротивляется, разрешая.

Ну как бы обойтись без вопросов, спрашивая. Крепкая солома держит наст, деревенское счастье в простом обычном дне. Или все это ласточки, бабочки, смутные подозрения. Не утверждение, не желание. За макушку елку не вытянуть, и прогулка в музей — одна из закладок в учебнике литературы. Короткие слова тоже подходят для ветра, и земляная печаль не хуже водной знает свое дело. И спасение лишь в том, чтобы перестать сопротивляться, — вынесет, шмякнет.

* * *

Как будто ров, и шуршащее, почти насекомое, умудрилось незаметно пролезть, наследить или просто укусить за пятку. Вот так было вечернее. Теперь не вспомнится или просто буквы стали запретными. Чем набит осенний мешок — крапивой. Склеены углы стола, и на чтение остаются лишь взмахи. Что уж умеешь, что разберешь поперек букв. А теперь получается только вдогонку.

Так долго, что приходится умещаться в молчании. Так бывает или по утрам, или ближе к вечеру, когда маленькие иголочки просыпаются и озnob бывает только у бабочек. Такие дела — скарлатина приходит сразу и внезапно заканчивается. Окно забинтовывает свет, и о болезни лучше вспоминать, когда ее еще не было. А если и лепить глиняных человечков, то лишь рассказывая им легкие северные сны, это их фарфоровые слезы висят в елочных свежих иголках, трогая печальных и не злых леших и кикимор. Сквозняки устраивают тебя, а мир продолжает умещаться в кулаке. Ключи и ключики рас-

сыпаются в руках, пробуют ударяться о край раковины, приводя в движение праздничную карусель. В календаре теперь живут птички и галочки, чернильные умные ракушки. И покажется за синим чепреком, падающим с горы, древесным простуженным летом.

* * *

И что же еще может с ними случиться, когда серые лапы шуршат по подоконнику. В осеннем поле сидит замерзшая мышь. И печь потом пироги с капустой. Деревянные лавки, дровяные склады, церкви и домишкы унесли в ночное небо московские пожары. Примусы, керосинки, мягкие рыхлые свечечки — зверюшки Господа Бога. Погладит мохнатой лапой по затылку — опять беда — розовое вафельное полотенце. Сколько еще сил, чтобы сдвинуть чугунные ноги с пьедестала, семь пар сапог по этой тихой безлюдной улице. Решетка, одуванчики, крапива. Город опять затеял игру — песок и огонь.

Буквы начинаются со слова. Ударит грозой, штемпель, сладко спится под утро, не услышишь мышиных шагов, и печаль тебя не разбудит. Утро начинается со слов, как потрескивала кора дерева. Утро, полынь, снег. Серые лапы шуршат по подоконнику. Ничего не хочет случиться.

* * *

Черные ложки, святые корабли, не спать по четвергам, и птицы не выют гнезд. Цвет испугается, будет дразнить домового. Черная крыша, мутный дождь. Подожди до пятницы. Лапы у глины, печной карнавал, тут будет ржаная солома, маленький театральный плач доведет до дома. Скажешь ему — уходи, и выполнит свое коротенькое обещание. Здесь возле печки — черноглазый колокольчик, грустные болотные огонечки. Камень прижимает задвижку — кто там мокрый и обиженный. Жалоба — снег, песок — обида. Кто опоздает, увидит свое отражение. Луна засыпает, прячет своих зеленых тараканов в карманы. Теперь к тебе идет карлик Скарбо с серебряными ключами и мелкими поручениями. Здесь хорошо спится в дождь, когда у печек болят глаза.

* * *

От этого дня выберутся в сумерках большие желтые лапы собак и трамвай для ухода из дома. Сегодня мы встретимся — и это для воды. Лишь воскресные обещания сбываются во сне, и ты не уви-

дишь речи, происходящей после глаз. Открываешь ли дверь, пишешь ли письмо — черный камень из подводного вулкана не торопится в собеседники — он слишком хорошо знает тебя, чтобы увести от предложенных мыслей. Запятые удерживают слова и замечают смену знаков, и помогают заучить лишние обороты речи, произнесенные вслед за голосом. И ты уходишь за своими зелеными переулками и отвалившимися скорлупками тополей. А так как вы немножко больны и нечем украсить ваши острые коленки, не слушайте того совета мышиной подруги.

* * *

И возврат как удача, наткнувшись на зимний отклик — память города, возвратившись ночью, где тот поселок, окно, поезд, до которого только — белый июньский перелет. Как ему можно доверить то, что тает и смешивается с воздухом. Побледневшее запястье, город, озеро, пруд с кувшинками и осторожные шаги, и новый твой вопрос. Если есть откуда уходить — то почему бы не уйти, не откликнуться, туда, где ветки приготовили свои почки — чтобы раскрыться в день твоего приезда. Молчящий магнитофон и серая птица сопровождают опоздания к тебе. Может еще и не хватить речи, рассчитанной для двоих, и я замолчу, прикрываясь привычкой и неумением. Так ли уж хочется знать о программе на завтра? И лишь твое умение будет сгущать воздух, и я снова буду смотреть поверх, узнавая лишь те имена, что приходят сами. А вдруг вернется и попросит помочи, и тогда придется исправлять черновик, где все еще светятся старые письма и разговоры. И тебя испугает слово «навсегда», предпочитая реальность сонному замешательству. И вдруг окажется, что ты еще не готов встретить его, и лишь время плотно называет шарики, и среди зажатых им цветных бусинок нет ни одной, готовой сказать тебе слово «радость», не нарушая твоих законов. Когда уже нет ничего, и после слова «здравствуй» приходится долго молчать, надеясь, что тебя поймут просто так, а слепленное письмо лишь добавляет усталости, и я радуюсь, что ты его не замечаешь. И я остаюсь там, куда уходит голос, не заботясь о прощении, где мир — лишь взгляд, и лицо смотрящего связано лишь с тобой. Слишком много тебе дается света на испуг, и не скажешь ведь «уходи» этому легкому настроению, когда возникает азбука начала, и ты не решаешься сложить слова. А я теперь не здесь, и взгляд как помощь теряет связь, и остается только время в прочной точке непонимания.

на пути к лабиринту

* * *

На Волге шипят льдины — прозрачные острые змеи, жалят больно, до крови, добавляя в ранку яблочного уксуса, чтобы запомнил надолго. Дальше спуститься невозможно, только на пятой точке — так поступает девочка с собакой. Собака просто становится в позу неподвижного галопа — задние ноги впереди передних — и тормозит, тормозит, съезжая к мокрому песку. Не хватает только ранних безумных купальщиков, мартовских моржей.

Середина реки быстрее, края замедлены берегами, щепками — земля привязывает к своей твердости и осторожности. Но песок слишком беспечен, чтобы хранить и не отпускать. Примет и отдаст, чтобы потом — не вспомнить. Он и сам — отдельно — не гнаться же каждой песчинке за каждой каплей. Мудрость неразличения? Беспечность безразличия?

Ты уходишь туда — к самой воде. Вода не пугает тебя своей податливостью и неуступчивостью. Скоро ты станешь черной точкой на горизонте, придумав для ориентира какой-нибудь иероглиф — человек-руки-в-боки, или всевидящий-глаз-сухой-ветки, или первая-вода-текущая-издалека-уносит-мои-глаза-вдаль-к-Каспийскому-морю. Хочешь, я придумаю их целый миллион.

Становится страшно от неподвижности, текучести и сильного ветра. Твой взгляд унесла вода. Остался песок, сухой скрипящий воздух. В молчании и отдельно — мимо друг друга — вверх к звучащим каплям другой тяжелой воды, заполняющей легкие пространства. Песок оставлен оструму ледяному равнодушию. Совершенство обиды ненарушаемо.

* * *

Голос с оглядкой — опыт печного аквариума. Листья, снятые на ночь с веток, оглянись — вода идет вслед — закрытый, сонный, больной — окно всего лишь отсрочка, пусть подождет там. Торопливо, слишком поспешно, насильная близость, задумчивая рука — привычка — машинальный жест. Можно, закрыв глаза и не думая. Кто поможет и не позволит остановиться?

Ты предлагаешь считать трещины в стекле, затянутом сеткой от комаров, ставить крестики в календаре — так относит ветер — близко — не всегда внимательно. Соль рисует свои пески — облизни морскую гальку — свет заполнен, обнимает — усни в его руках. Плавно скользит внутри — не пытайся объяснить — смотри. И не смей закрывать глаза.

Отражение плывет глубже глазного дна — след, сон, шепот, шелковый путь — пелена, из которой вырывается тот, кто — успеть удивиться — так в окно влетает птица — простужено приникая к белизне потолка — плывущие пятна хлора и мазута — край опаздывает и захлопывается лопнувшая кожа. И я не буду угадывать — чтение по тени губ, отраженных сквозь камень. Что она сможет увидеть, когда твоя правильная дорога — вдоль — вглубь — слишком быстро, не успевая привыкнуть. И как потом отдирать лечебный пластырь пристального внимания. И нет ничего, что сказано. Медленный эксперимент, убегающее молоко — письма меньше двух килобайт не считаются письмами. Дождь всего лишь отметина на земле — выход — не нажимай Enter — ей больно. Способ остановить западающую клавишу. Убедить? Или убедиться самой? Рассказать? Или так молчание становится молчанием, вытесняя близкую обиду или настороженность. И что теперь делать, если нет больше места. И так ли открыт ты сам, чтобы увидеть — способ, которым соединяются руки — вдоль — опережая. Когда ты опоздаешь всего на три остановки, когда исчезает след на листе бумаге, буквы переходят в другую реальность, их изгибы повторяют изменившееся пространство и стекают, зажав в середине круглых или угловатых смыслов свои молчащие оправдания. Когда она плачет, где в это время ты? Кто перейдет эту дорогу — от — к — ? Кем испуганы камни — знающие — поющие — сплетающие лабиринты? Чей указатель приведет тебя в этот плоский тупик? Это время считает шаги. Ты так неосторожен, что она убывает, станет точкой, не поставленной тобой. Собери, узнай, открой, не приходи — кому и от кого.

* * *

Скользжение, названное по имени, — собери буквы черники, что разворачивают смелость бабочек. Ровный след заточенного карандаша — точки, проколы, воздушный змей, привязанный над обрывом. Северный мираж стеклянных оболочек — внутрь, минуя твердость и скованность, глотать песок в углу своего круга. Знак луны нарисован внутри солнца.

Там — твоя обратная сторона?

* * *

Теперь ты просыпаешься дважды. Еще никто не уходил из этого города ночью. Что бы подумать, расплескивая словарь, полный до краев — шипение ужалившей травы.

Круг на воде — приходи завтра, приходи всегда — стук в дверь необязателен. Этот колокольчик из дерева — он не опасен — только твоя тень — отсутствие всякого звука — испуг испуганных губ — страшно произносить это укусное слово —

— влага, текущая по ладоням, — отпечаток листа болиголова над вином — сладкое солнце — вкус молока — инь над янь — подробность прикосновения — место, приготовленное усталостью для того, кто стелит постель. Жаркий выдох полыни — шелковая рубашка в ягодных кустах обрывает запинающуюся речь ветра. Оставь его бессвязную скороговорку. Шепот печальных рыб, одичание лягушек на плотной китайской бумаге, рот занят рисовым печеньем, руки заняты блужданием — глаза ветра закрыты —

* * *

И было — поставили в центр круга, сказали — будешь точкой. Дали в руки по цветному флагжку, начертили в воздухе иероглиф. Красный, слишком красный, чтобы стать зеленым.

Комариная оторопь — подойди поближе, перешагни — оставь эту легкую стражу — покинь свое место — вровень с глазами дно спокойного фонаря. Средство, снадобье, чтобы не видеть снов, чтобы не оборачиваться, рассказав и не заметив. Узнавание доступно только пальцам — жест — всего лишь след — способ печной заслонки. Здесь не укажут тебе засова — только задрожит нить — близкая — не удержит тебя — согласие расстояния — или — запрет — не сомневается уходящий — капли йода — что теперь — отвернуться или зажмуриться? Сколько еще непроизнесенных слов

твоих записных книжек. Пристальное молчание точки — теперь круг пуст — входи — успей — не говори ему нет — пусть будет.

* * *

Розовая бумага — так разговаривают локтями и коленками угловатые китайские иероглифы. Голые ветки трогают желтые цветы, сброшенные с облаков. Кто выходит на утреннюю остановку, красная рубашка сжимает горло, пытаясь скользнуть ближе.

На дне маленького колодца — отражение. Кто из них плачет, когда идет дождь? Числа позабыли свое вращение и предполагают ошибку небесного ориентира. Время праздника — соль разговора, засыпает, свернув кожу, на плече — звонкий знак — приходи. Откажись от этого примерного и аккуратного — твоя зыбкость остановлена — небо прорастает, расправляя складки луны. Забудешь? — Лето приходит медленно, забирая внутрь все произносимые жесты. Если это будет навзничь — руки касаются края — разговор безнадежен или пуст — песок глотает имена — пыль расходуется — теперь положено отойти — К чему теперь ты привяжешь цветную ленточку — куст барбариса — просыпается — произнеси его вслух —

* * *

Сухой расплавленный выход. Скользит в воздухе перед глазами. Плывшая поверхность — деревья корнями вверх. Продолжающееся отражение. Скорость стеклянного приветствия — вдоль оранжевого куста прозрачных сброшенных крыльев. Шелковичная обособленность в каждом круглом согласии — обтекает, выравнивает кокон. Прочая настороженность, вычитанная в объявлениях электричек сомневается в твоей обещанной правоте, когда лед скапливается в горле — кисточка, ножницы, пластилин — яркая акварель пролитой завершенности. Оборачивается, возвращается — внутри, расходуется, наклонив голову — она не умеет, пусть расскажет — как, выступая по подоконникам других комнат — там, в углу поселилась — ночь обрывает по облаку, где прячется в ладонях испуганно. Не трогай, обними, уйди — в оболочке из воздуха — утекаешь водяной змеей — влажная соль в руках — все, что осталось. (повторяя, унося воду в ладони — к лицу — вниз — оставляя полную дорогу вдоль указателя — там разрешено все — брать — отдать — ты не сможешь возвратить)

Звенят ступеньки — короткий возглас гласных — хорошо, что нет — ты скоро устанешь, разговаривая во сне. Все, что происходит —

сегодня, не разворачивая эти птичьи следы — придумывая плеск имен, падающих в пыль — город, песок, вода — обратно нельзя — хлопок разорвавшейся нити — задержи ее холодные пальцы — если это пройдет — берег отодвигается — плотная соленая поверхность — это вдох или — и не надейся, что кто-то сможет сказать яснее —

* * *

Теперь тому, кто первый протянет руку

Задумавшись, а сколько я тебя знаю (вопрос), поскольку я тебя знаю (утверждение), насколько я тебя знаю (размышление), а может, я тебя знаю (сомнение).

Исключив повторения, всего лишь убеждение, что надо бы... исчезнуть, может быть? Или передумать, предположив, что все отражается и возвращается прежде, чем испугается самого себя. Город непрекращающихся артиклей. Ходить по зыбкой грани между полутонаов и оттенков. Уже туда, внутрь каждого отдельного состояния, отголоска западающей клавиши, внутрь западного ветра, следя за полетом капли, стряхиваемой просто при мытье рук. Здесь любят в мелочах тоже. Туда, где только неосторожное, неожидаемое, принимая почти все. Совпадение при твоей близорукости и моей дальновзоркости (только медицинское понятие — см. Энциклопедию). Разве ты сможешь приблизиться до неразличения? Каким усилием удержать неизменным это препятствие? Не оттолкнуть? Поддержать? И куда деть слишком занятые руки (знаю, знаю, ты скажешь — разжать, отпустить).

Такой уж теперь разговор — заполненный от краев к середине паузами, пробелами, space-пространством между. И каждый заполняет сам. Не возражаю против пересекающихся линий. Разбитое отражение блестящей асфальтовой копии. Не своди ее в точку, в линию, в плоскость. Неспособность на «да» или «нет». Только — может быть — между — на грани — внутрь — через — рядом — отдельно. Ты — тоже оттуда. Там-то мы и встретимся. Это такой разговор — краями. Мне интересно — так. Это просто попытка. Можно не отвечать. Я подожду. Там.

* * *

Летящее время, проведенное порознь. Что плохого в том, что кто-то опять придумывает тебя, решая свои внутренние проблемы. Когда снег произносит совершенно белые слова, письмо приобретает

больше свободы, не ограничивая себя только ответом. Возможность становиться слишком избыточной для себя и необходимость контакта с другим — тем, кто выслушает. Можно, конечно, придумать все, включая несуществующую точку отсутствия. Есть только мы и весь остальной мир. Возможно, даже и нас нет, а только растворенность во всем, приближающемся или уходящем. Правильность и размеренность жизни тоже не исключает возможность встречи, но, становясь наркоманом, приобретаешь только одно. Нет необходимости ограничивать мир до таких узких проемов, когда видишь только дорогу перед глазами, а отход в сторону — мгновенное предупреждение распоропной статичности. Приобретенное никуда не уходит, и проблема не в том, чтобы сохранить, а в том, чтобы продолжить, оставаясь все же за чертой, отделяющей горизонт.

* * *

Кое-что о сожалении...

Ночное сердце не спрашивает о любви — оно просто любит. Какие еще знаки, кроме совпадения линий на ладонях, нужны тебе, когда принимаешь решение? Ответ не сможет быть правильным или нет. Ответ не бывает единственным. Он — вся твоя исчезающая жизнь, равномерно расходуемое топливо, пища для огня.

Все случившееся размешано миксером в однородную массу. Стоит ли теперь разделять на «я», «не я» и «другие». Стоит ли думать о другом, как о единственной причине бессонницы или дождя. Исчезновение границы отменяет проблему приближения, пересечения, визы и прочей душепрепараторной химеры. Теперь — почти условный пунктир, несерьезное обязательство, которое не страшно нарушить. (Ну, вышлиют на пару лет, а у нас в запасе вечность, что нам стоит потерять...)

Мы отрываемся от своей оболочки и хотим видеть друг друга в назначеннное для этого время, с определенной для этого дня целью. (Как приглашение босса на ланч...) И что за это время можно разглядеть в другом? Причину отсутствия или присутствия? Условный знак, что мы еще вместе? Неосознанная фальшивь, что друг от друга еще что-то нужно? Хотя уже давно живем в пространстве несогласующихся времен. И что за разница, у кого какое время, если прошлое и будущее одинаково эквивалентны. Осуществимо лишь пребывание. Где — неважно, если не существует одномоментности восприятия. Не разными взглядами, а не сообщающимися. Игра

с заданными правилами — «не трогай моего квадратика, а я не трону твой треугольничек». То, что раньше перетекало, теперь утекает в другую реку на радость живущим там рыбам. Полностью обновленная кровь — не это ли причина отторжения? Механические движения, гальваническое оживление, способное лишь на полчаса имитировать подобие жизни в этой точке. И, может, слава богу, что еще не все отболело, раз имитация столь правдоподобна и похожа на настоящую жизнь.

Расстояние пройдено. И что же дальше?

Когда отвергается возможность случайности, может, еще не поздно попробовать новую игру, по другому сценарию, не продумывая ходы наперед, а оставляя свободным в этом расписании хотя бы пару чисел, несколько дней без согласования в инстанциях. Да ведь опять они слишком легко могут встать в заученные рамки...

А если один день в месяц оставлен для непредсказуемости? В этот день может случиться, что угодно, а может не произойти ничего. И никто никаких претензий никому никогда. Даже если все получится совсем не так, как ожидалось кому-то из нас. Один из тридцати — разве это много?

Оказалось недостаточно радостной неожиданности. Слишком просто, чтобы это заметить, правда? Оправдание себя делами, спешными записками и заученными словами. Быть может, и не надо ничего менять. Все устоялось, привычно и почти не больно. Спокойно. Только вот что же делать-то? Я слишком хорошо себе представляю, как ты улыбнешься и отложишь все это в сторону — для более удобного момента. А потом будет не до этого. Может быть, — так оно и нужно.

Я не прошу и не надеюсь. Просто сожалею.

* * *

У наших ночей очень близкие горизонты. Когда продолжение можно достать рукой, как погладить волосы или провести по линии позвоночника, удлиняя тело до бесконечного. Темнота оказывается внутри глаз, опрокидывая. Бесполезно измерять расстояние, оно меняется с каждым вздохом, пульсирует, сохраняя неизменность вращения раковины между морем и морем.

Руки опущены, из них утекает усталость голоса. Незамеченная электрическая ошибка отправляет электронное письмо по другому адресу. Там сначала удивляются, потом радуются, потом отвечают.

Теперь праздник внутри. Свернутая копия возвращена, потерявшиеся буквы успевают увидеть чернильное небо нового алфавита, оставляя совмещенное дыхание без хронологии. Время, перевернувшись, стекает по стенкам клепсидры, выплескиваясь избыtkом вне. Теперь пора голосового опоздания, заполнившего размеренность чередований в медленном ракурсе блестящей секунды.

* * *

Свет становится слишком ярким. Его вычерчивают ножом. Из всех рек собираешь по капле воды и отправляешь ему на помощь. Раскрашенные палочки, змеиные отговорки, ползучий след в воздухе — там сторожит твой день китаец с ключами. Толкни запертую дверь — разорванная бумага, стекло касается стекла, хрупкое «дзинь» вместо. В кругах горячей травы просыпаться влажным вечером, рисовые слезы — от кого сегодня будем убегать по следам скомканых букв неотправленного письма. Ветер вырезает ледяные фигурки, потом их предложат тебе к чаю вместе с лунным печеньем и другими премудростями октября. Забирай эту ласточку вместе с ее дикой пряжей, сплетенной из гудения воздуха и острых рыбых плавников. Голос качается, прячет в ладонях несколько способов засыпания, провисания паутины, где в середине — клавиша delete.

* * *

Собрать твои письма в один большой конверт. Семь вечеров, семь возможностей ухода. Привыкание к их осуществлению в неизменностии. Понимание, что здесь уже не ты, да и где ты — там, где меня не может быть. Опять протянутая неделя опровергает возникшую было уверенность. Опасение, заглянув в конец, увидеть его другим. Опасение, ожидание, длительность. Повторяя, что там меня нет, отодвигать исправленные черновики, скомканые карандашные записи, где темные провалы от ластика и беспечный бисер русского алфавита. Отыскивать черную луну, несуществующую отметку за примерное поведение. Я ожидаю так, что можно свихнуться от непонимания самых известных слов. Кто и когда говорил их, обращаясь к стоящему рядом, в уверенности, что это не он. Кто он будет — всегда возле разлома в земле, твердость и резкость вместо плавности и сыпучести. Надеясь, что не соскользнешь засыпая. Что удерживает тут, вблизи от поверхности, где уже ни вода, ни песок, ни глиняные кувшины, ни надписанные стены. Стираешь последнее название, данное земля-

ной оболочкой. Остаешься просто никем. Чистым ничто. Ничейностью, не существующей в природе. Только здесь — в холоде листа бумаги, изредка меняющей цвет по желанию заказчика. Так расплывается пятно воды в воде, песок из руки смешиается с побережьем, и даже название, переведенное в другой язык, начнет лгать своему владельцу. Ни владея ничем из созданного человеком, природой, хаосом. Вертикальная линия, точка на плоскости, отверстие, исчезновение. Уже не ты. Уже никто. Освобождение.

* * *

Пространство, куда выпадает самый последний снег, от которого сначала — дикая радость и удивление, а потом такая же дикая тревога — как ты там без куртки... Потом — опоздание тихих переулков и привычное продолжение спокойных разговоров — туда, где не успело взойти солнце. Голоса оказываются записанными в обычной синей тетрадке и принимаются оправдываться и смущаться. Все становится тяжелым и прочным, раскалывается на крупные глыбы и остается лежать до первого дождя, который размоет их на песчаных пляжах Подмосковья или Владимира. Начинает звенеть простой белый лист бумаги, оставленный на ночь на столе. Однажды утром он будет весь покрыт муравьями, пробравшимися из цветочного горшка. Здесь хорошо жить рыбам — не тем мелким уклейкам или комнатным переносным морем, а спокойным глубоким снам — большим и осторожным, замыкающим свое круглое тело по всему периметру окна. Зимовать можно в незамерзающих полынях, которые я обязуюсь проделывать для них всю зиму.

Осторожность пытается уговорить свои шипящие яблоки. Но где яблоко, там и змей. Будет охранять теперь мою нерешительность. Голоса с подчеркиванием, с нажимом, с оторопью, в крапинку или полоску, пятнистые, как дикие кабаны. Земля еще не устала от шагов и сохраняет все проросшие стебли крапивы. Этот способ смывания пыли не так уж и плох, принимая во внимание всех его античных предшественников с их конюшнями.

Исчезновение грифеля приводит к потере ориентации. Края бумаги не существует. Письмо продолжается в пространстве, не опираясь на поверхность. Ему все равно — его нет. Утекающая нематериальность требует хотя бы сохранения в привычном формате усилий цветного принтера, расходуясь на преодоление арабского шрифта. Равномерность затягивает, предлагает искушение вседоз-

воленности, не понимая, что ничего из случившегося не сможет изменить графику расположения алфавитов. Среди утерянных — возможность замещения в том далеке, что почти отказывает в существовании определенности. Я помню все случайности его неторопливого отступления. Продолжение так же непрочно, как и его противоположность. Сумей отказаться и пропусти начало того события, когда луна станет на том берегу каменной реки и откажется замедлять свое искусственное отторжение. Там она останется одна, и никто не посмеет разбудить ее, когда вода покроется трещинами, а воздуху не хватит дыхания для продолжения ответа.

* * *

А потом он предлагает распределить окрестности. Натянутые с углов, они топорщились в середине высохшим деревом и совсем не желали быть вычеркнутыми. Спелые осы, круговая трава, продолжающаяся подробность расстояния. Возможность преодоления без оглядки — как падает камень, уползает уж. Сотни часов со стрелками, показывающих разное время. Они сошли с ума и время переродилось? Возможность использования песочных, отмеряющих не время, а срок, не дату, а ее прохождение. Пересекает и останавливает — здесь нет перехода — только движение, врачающее горизонт. Потом — убрать окончания, вырезать глаголы, высыпать горсть запятых и аккуратно завернуть в глянцевую бумагу. Перепроси — он отойдет на полшага — не ответит —

* * *

Взгляд чужой воды. Античная отстраненность. Пределы безразличия стремительно раздвигающие усталость лабиринта сухого дерева и песчаного молчания. Рассеяние, балансирование, собирание водяных окружностей, стекающих в изломанные линии вчерашнего моря. Растряянность креветок и черепах, зеленое пространство, использованное до земли, — вынесет, окружит, разбросает мраморные пальцы вдоль ила и сетей. Способ окружения, потери, взаимного согласия быть вне — поперек задуманного события, не желая быть оправданным, если сделанное пока просто ежедневное упражнение, отобранное у рыб, связка слов, опоздание выдоха, успешное отсутствие. Все более — вне, предполагая отказ, голос, повернутый в обратную сторону, осторожное невнимание, поиск укрытия в сло-

ве «нет», отрицание занимает свое место внутри согласованного согласия.

Опоздание травы. Звон. Украденный оборот воздуха в сторону ночных произношения. Что-то происходит со стуком в окно — утро обмелело и близкое дно цепляется водорослями за пальцы, пытающиеся удержать кофейную чашку. Возможно, оно примется пугать облака, замерзающие в медном блюдце со следами сигаретного пепла. Источенный грифель, раскрывшееся пересечение. После улыбки — долгий спуск — горизонт или яблоко? И что теперь в твоих руках?

* * *

Поставили в самом темном углу египетского зала. Горькие змеи, замкнутые линии, невозможность размыкания. Все внутрь. В себе. В глубине. Руки способны удержать лишь себя, отпущеные и согнутие. Только черные макушки торчат из земли — обугленные, каменные, гладкие.

Острые знаки — мгновенная остановка пальцев — настороженность. Движущаяся статичность, колесо, вращающее воздух. Следы — морская звезда в сухой ладони всплывает на свет. Отгороженность — случай места — податливость глины, которую никак не может освоить вода — речь — следы птичьих лап — расчерченный ил — цапли и ибис — отражение голоса в молчании — крышка захлопывается навсегда — многослойность пространств распределяет бессмысленность прощания. Зерна чернеют — сохрани имя внутри, чтобы потом вернуться.

И проходит вдоль тела падающий отвес — до и после — твердость крыльев, вписанная в окружность брожения. Тебя останавливают в самой середине — вот тут и пригодятся круглые надписи на пальцах — опознают и впустят — вдоль сверкающей трещины каменной перегородки ближней земли. Теперь можно оглянуться. Там — не осталось ничего, к чему возвращаются, пустая скамья — сквозь дерево — если упадешь — вернешься. Теперь забывай — твоя память внутри — на обратной стороне глаз — слои холста — плотность — темнота — печать наложена — не разбить — праздник неподвижности. Здесь твое место.

* * *

медная улыбка — частый гребешок — сон сквозь открытые глаза — восток вытягивает волосы к горизонту — подними голову — расскажи о спрятанном в глине горшке, где поселилась раковина, —

вползающая туда змея — магнитом черного молока притягивает желающие руки — если медленно, то не испугается, — радость укуса — приближение — совпадение. Кто ты? Вместо тебя ответит свист, вытягиваясь из узкого и длинного — что притягивает туда — вниз — поверни голову, держа в руках ускользание, — не отзовайся. Там простят — связанные нити — громкие голоса. Не выговариваемая просьба вернуться. Кольцо разомкнуто — тень змеи уползает — по углам рта — два гладких черных камня — сторожат.

* * *

Змея вокруг горизонта. Звенящее тепло мозаики. Дотронется до лба сладкий раздвоенный язык — забудешь пропавшую вещь — острый амулет на зависть плывущим рыбам — не убежишь, не спрячешь — на тебя указали каменным пальцем.

Все становится всем. Возможно, тебя пролистали и освободили от длительности прогулок. Теперь тебе приносят мертвых жуков, высохшие раковины, разговоры песка, отражения в воде. Праздность выбора освобождает от шершавости китайских рисовых подушек, добавляя иронии для красных фигур ветвящейся субботы.

Главное — вовремя опоздать. Отрывная память телеграфных сообщений. Этот ключ открывает любую здешнюю дверь. Вспыхивающие точки на месте его прохождения.

* * *

Здесь — до чернил, до скрипенья повозок, до раны, город, направленный в шум острия, неизбежный растреченный камень. Трогая известье и мрамор, глаза опуская в воду, вынесет лодки, заставит шагнуть оттолкнувшийся воздух.

Лето выносит за серые скобки осколки, обломки, солнце пружины, пытаясь собрать неумелые капли. Дальше — до губ, до прикушенных ржавых, картавых, дальше — один, раскрывая, прощаясь — слепым разговором.

Соль и слюда, тяжелые яркие сети рвутся на той глубине, цепляясь за камни, после останутся здесь корабельные снасти, берег молчания, опыт проверенный, берег и берег.

От переулков и собранных улиц — в горле железо, холод фонарный, газовый, серный, проглоченный, ясный. Даже увиденный скажет обратное — нет или можно, за расстоянием проще не станет — камень и небо.

Здесь оглянись — как повисший огонь исчезает, память не сможет тебя удержать и окликнуть. Дым испугает — вечерние сладкие птицы, холод подходит, сжимает, ломает подкову.

Можно теперь отвернуться, забыть и зажмурить. Мимо, и мимо, и мимо, решая позволить, где забирают тебя тростниковые пальцы, чтобы остаться — немного ольховой заботы.

После уже уведенные дети заплачут, серую воду глотая, — и не оглянуться. Черная воздух бортами, ему наклониться только позволено, не оступиться.

Вдоль островов — золотые сокровища рыбы, дальше гудение пчел, пропускающих воду, и зарывая в песок ледяную награду, строить ограду, чтоб стало и страшно, и больно.

И не на веки наложено вето — на губы, больше не сдвинуть тяжелые плоские камни, и пустоту раздвигая — кругами, кругами — руки полны узнаванья, земли, опозданья.

Ни увернуться, ни встретиться, ни удивиться, ни согласиться, ни вымолвить, ни отмолиться. Слышишь, стучат деревянные черные ставни, и окружает и пьет неизбежный избыток.

* * *

Расскажи сейчас или неизбежно опоздаешь, собери мох — раздай пчелам, мокрые рукава, глаза, реки — переверни огни святого Эльма.

Отпусти песок, разожми пальцы — пусть игла проходит точно и больно, пусть уснут змеи в тростнике крыши — заплетет камень земляные стены.

И полынь скажет — отвернись, ветер, если сон плачет — значит, не отзваться. Свернутый, связанный — взгляд осторожный, деревянные веки глиняной лодки.

Круглые тарелки черного хлеба, дождевые весла, выжженный воздух, обернись, праздник, крапивный оклик, зашипит, ударит вдоль — выдох.

Но закрыть глаза — уже поздно, город — иголкой блуждать по венам, расплетет — выбросит — не подхватишь, только спохватаешься — ненадолго.

* * *

Окружающее начинает пропасть в извилинах и трещинах. Сумей догадаться о значении этого иероглифа по способу его написания. Сначала собирается молоко, потом — роса с оставленных на ночь на веревке балкона бельевых прищепок. Простое асфальтовое напоминание медленно уползает с твоего пути, оставляя зеленые листья при их хлорофилловом прошлом.

Размеры совмещенных черепиц совпадают с придуманным светом газовых фонарей вдоль чужой улицы в самом центре нерусского города. Там, где выплывают, заставляя ждать, не будут расходоваться черстевые иголки волжских сосен. Их кора в своем сухом цветении не сможет догнать праздничную японскую сливу и откажется от первенства, даже не сожалея о потерянной возможности огорчения.

Где собираются прикосновения смуглых акварельных окликсов, чья рука поможет открыть дверь в несуществующую длинную оговорку? Спрячь мое небывшее, расставь запятые в дрожащем предложении, скатывающемся со стекла поезда, идущего от. Там разрешено все. Пробелы заполняются черными условными знаками неизвестной уснувшей кодировки.

Я надеюсь, тебе не придет в голову переспрашивать, оправдываться или недоумевать. Прочтение слишком ясно, чтобы добавлять к нему еще что-то. Сон, изложенный на бумаге, теряет свою силу ровно к половине. Ночь, поделенная на двоих, так же длинна, как и непроизнесенный вопрос. Осторожность не будет оправдываться, а лишь поместится в ярком бумажном фонарике, забытом на скамейке в парке.

Прислушайся к этому сомнению. Никто просторнее определенности и точности. Так оказываются на краю, успевая заметить пропасть, полную воздуха. Возможность отказаться преследует не отрываясь. Тело, тающее в воздухе, растворится в воде. Не пей, там теперь я — в краткой подледной памяти. Уступая. Соглашаясь. Уговаривая. Не подходя. Глаза, обращенные на восток. Мы заплетем косы и совьем гнездо из листьев. Рука не встретит сопротивления камня, и стена примет в свою отдаленность мерцающее дыхание сонной аритмии. Смотри теперь, как всходит солнце. Там — обратная сторона всего, что оставляет тебя свободным. Ничья, поверившая в свою темноту.

внутри зимы

* * *

Слишком медленное, чтобы торопить тебя. Деревянные палочки, хруст под ногами — пыль или земля. Все часы в моем доме показывают разное время и неправильную дату. Мне нельзя забывать про это, парусные корабли, хрупкие огоньки на мачтах. Плыть к тебе, сначала по Волге, потом Каспийское море, потом по сухому песку, потом по шелковой нити, потом — вдоль серебряного звона, потом — дрожание стекол, не пугайся, это только я.

Там, внутри, только спелое ледяное беспокойство, дымящаяся вода, на которую падает снег. Иногда она опрокидывается, теряется в городских сумерках, не торопись, ты всегда узнаешь. Повод обутсяся, замотаться шарфом, и, чувствуя в руке твою руку, спуститься ближе, туда, где noctуют рыбы, корабли, водоросли, Офелии. Ты держишь крепко и невесомо, потом я уплыву придумывать перепончатые снежинки. Там, под водой, все с перепонками, даже красные кожаные перчатки. Я выыхаю растерянность воздуху, взгляды молчат, предпочитая сухие ломкие лотосы в соломенной корзинке. Тапочки свернулись под дверью. Завязанные рукава. Расстояние от окна до окна соглашается еще немного подождать. Все так же ли звякает лифт, привозя холодные апельсины и хрупкие шоколадные чашки. Вырублен лед на реке и увезен вместе с песком. Я гадаю по узорам на окнах, прощая недо-верие, ино-сказание, при-частие, от-сутствие. Чья тень прислоняется ночью к дверям? Часть, становящаяся целым, сновидение. Дорожка из разбросанных камней — приходи, вместе отыщем индию. Вишня и малина, жестяные крышки, стеклянные банки, запечатанные на случай неприхода лета. В буфете пахнет конфетами. Память губ на

других губах. Кто-то испугается и исчезнет в протяженной непредсказуемости. Комната вращается на деревянной лунной оси, поделенная на двоих. Я возвращаюсь в темноте и кладу телефон поближе к подушке.

* * *

В сонных глазах — ответ, я сплю на твоих коленках, встречные фары больно гладят лоб, перемещают руку. Красное окно троллейбуса, увозящее вниз. Туда, где только капли застыгают внутри воздуха. Свет, разломанный пополам, продышим с двух сторон стекло, оставив следующим обитателям отпечатки пальцев. «По ним нас и найдут?» Расплетая дверной замок, забыть полоску света для того, кто подглядывает с небес. Прозрачные пузырьки захватывают виски и руки, опрокидывая обрадованных мягким телефонным звонком. Прочитаешь по ладони: рецепт, совет, вздох, здесь — ограничение скорости. Здравствуй, пряничный домик, сладкий сироп, желтый огонь. Несешь в глазах отражение. Город укладывает спать, расплескивая несуществующую китайскую опрометчивость.

* * *

KissKissKissKissKiss you — не хочешь превратиться в кота? Слишком черные отражения в глазах — зрачки не умеют ждать и выдают твое опасение. Спрятаться? остановиться? молча подождать внимательно-угловатой руки? Серебряное молоко, шоколадные крошки, проверять ласковую дорожку между и между. Как там переговариваются утки, улетающие с прутиком во рту, — слизывать стеклянную пыль, плыть по качающемуся воздуху: острое, ненадежное совершенство больно уколет слева.

* * *

Карие кроты, цвет ослабевает и не так осторожно колется — юмористская память заберет и укажет дорогу. Гремучие карандаши выпускают праздничную мышь, в стеклянном спокойном объеме — каменные угольки. Светлое полотенце закрытых дверей. Выпить воду, в которой отражалась вчерашняя луна, ты умеешь превращать воду в лед. Дай себя уговорить, что этот почтовый ящик для одного письма.

* * *

слушай: далеко-далеко на озере Чад... А на самом деле там никого нет, и когда открываешь дверь в соседнюю комнату, то застаешь там зиму или рыжую мышь (господи, это же полевая, что она делает в твоей квартире?). И пол усыпан еловыми иголками (это вместо песка, чтобы ходить по ним в самую длинную ночь босиком, не боясь уколоться, и все равно одна из них придвигается ближе к дивану, щекочет пятку. Это все еще я или уже ты?). География застrevает на самой дальней полке, ты не позволяешь до нее дотянуться: «извозчики довезут тебя до твоей Америки». Время выключать свет давно уже прошло, никто не может вспомнить, когда и кем. Так положено, настаиваю я. Но ты не слушаешь и лиственные леса под Москвой, и полосатые пешеходные переходы, и мосты, вдоль которых мы и мы. Хочешь, я расскажу тебе это? Но губы заняты другим. Вода вытирает стекла, падает навзничь. Вдох — в тебя, выдох — в меня. Часы стоят во всем доме, поэтому времени нет. Как тебе нравится такая игра?

Разглядывать косточки сумеречных плодов, гладить по макушке, надувать щеки и дуть на взлетающую челку, пальцем по спине, ладонью по плечам. Я отвернусь, ладно? Покупать абрикосы и персики только для того, чтобы узнать, в котором из них гладкая косточка. Твоя половинка, моя половинка. Что нам делить-то? Разве что подушку на двоих.

Проходить науку задвинутых штор, когда результат неизвестен никому из нас, и сколько раз переворачивается песок в изголовье? Красные карандаши чертят по изнанке глаз, вздрагивать, проходя мимо: «ты потом мне это покажешь». Первая вечерница, крапивная ночь, — корабли плывут к югу, ты рисуешь Южный Крест, расплавленный шоколад пиратских парусов. Кто кому станет усталостью? Кем еще рассказать тебя? Не выводи меня из этого лабиринта — не голосом, паузой между прикосновениями. Ты услышишь, и мы проснемся между памятью и отпечатком подушки на щеке — твоей ли, моей — какая разница — водоросли не желтеют в воде.

Включить опцию — «выделить все» и вырезать ножницами, потом сохранить пустой файл. Так продолжается, когда выпит чай, съедены конфеты и просмотрен египетский альбом. Я пробую переводить, ты поправляешь, касаясь щеки — меня или волосы? Потом свет выключается, твоя любовница звонит тебе все настойчивее, и я понимаю ее. Вверху — только потолок, где медленно гаснет флуоресцентное свечеение беспорядочно наклеенных звездочек. Это очень легко — протянуть руку вдоль твоего тела, для тебя еще легче — повернуть меня лицом к себе. Но мы не хотим так, как легко. Она позвонит еще раз, и ты уйдешь — «ну, раз ты не оставляешь...», а я попрошу тебя не обижаться. И ты пообещаешь. Все продолжается.

Где бы раскрашивать желтым карандашом стекла, двойные полоски обводить, художнику мешать своими тенями, пунктиром развесывать звездочки внутри шара, в стеклянном отражаться. Там, около, быстро вырезать себя из фотографии, оставить силуэт — пусть догадываются, кто оттуда сбежал — тебя или меня отпустила бумагная разноцветная решетка. Это не то «да», которым отвечают. Это то, которым уходят. Не разговаривать вслух, кто тебя так поймет и выключит свет. Не объясняй себя в темноте. Два голоса на разном расстоянии. Потом ты испугаешься, что подошел слишком близко и приходится продолжать. Не задерживать, просто отступить на шаг назад, давая тебе возможность подумать, что это была случайность. Ты сможешь в это поверить?

Уговаривать, руку под щеку положив, смотреть в лисьи глаза тишины, спрашивать, стрелки на часах переводить вдоль ограды, по следам, что исчезли за ночь, через слова, сквозь молчание словарей, кирпичное, глиняное, радость египетских царей, убранная в ящик стола, они замолчат, когда ты закроешь книгу. Остановишься, прочитаешь название станции, буквы легко заставят себя уговорить, попробуй — они поверят, уголки этой встречи — помятое чистописание. Лесенки, коробочки, чайные стаканы, ее клубок, твой остров из птичьих перьев. Не отгадывай ее круглую радость, деревянные иголки, красные черепахи, ледяные девочки-снегурочки. Кто же полюбит эту медленную тяжесть в руках, когда просыпается мука, проливается молоко, горох и рис, и ты плачешь в освободившиеся ладони.

Говорили тебе — не пей воды, не спи у ручья, не смотри за спину. Те руки, которые останавливаются, чтобы только обнять. Скажи про меня: «она». Потом не торопись, на языке помошь слов, которыми целишь растерявшуюся спутницу. Оглядываться только той, которая всегда не здесь, уговаривая расстояние отдохнуть. В этом городе, с горки, снежные санки, ледяной мальчик, звон стеклянных и прозрачных, падающих с крыш, отсюда тебя увезут, запретив вспоминать: длинная дорога на семи видах транспорта, железнодорожная карта, ветер, ветка, вето вестей, ватные шаги до следующего поезда.

Не просить, не жаловаться, не плакать, не знать, не приходить — способы отрицательной помощи. Молчать, смотреть, в низкие окна заглядывать, сопровождать вдоль трамвайных линий, тайные листики складывать в почтовые ящики, конфетные обертки и сверчки. Поворачивать ночное небо в половину круга, зарубки на деревянной палочке — кто сможет дальше?

Теперь можно и короче, вдоль самого длинного слова в году, там можно только бежать, убегать, спотыкаясь и падая прямо в руки, подставленные мостами. Троллейбусные разговоры, перечитаешь каждое колечко — серебряное, тонкое, деревянное, трамвайное. На ночь оставишь, засыпав песком и водой — разноцветные мелкие камни, вытряхнутые из сандалий. Горячее и кирпичное, соль в подставленную руку — так кошачья лапа, моментальные когти, красные полоски соединят кровь с воздухом. Скажешь ей спасибо за разбитые елочные шары, верхняя черная стрелка отметит ту часть текста, которую запомнить не удается.

Сниться рыжей кошке, вытаскивать из лап занозы, выпивать молоко, поставленное для домового. Где ты живешь в своем «никогда»? Где твое «рядом» и где мое «напротив»? Я угадываю по глазам слово, которое сможет возвратить и промолчу, потому что ты скажешь его раньше, возвращая, протягивая, улыбаясь. Запутаться в снежных лабиринтах, включать и выключать. Так проходит, вылевчивая. Не скажем про это никому, кроме.

* * *

Ту — любить, эту — жалеть. Как ты оказалась в промежутке между той и этой? Легкие воздушные круги — проходят почти насквозь, не успеваешь, падаешь через порог пустоты. Что оставить

себе — отражение вдоль украденной фотографии? Чужие губы на других таких же чужих? Она медленно становится памятью. Тебе — продолжать спокойно исчезать вместе со временем. Это не ты виноват, это продолжение, обод черепахового гребня, слишком яркая вишня. Есть вода, в которую запрещено, нельзя поперек, нельзя даже вдоль зрения, даже, если ослепнешь. В синем воздухе потерялись голоса — не говори о ней. Тому, кто перебирает бусинки на леске, хватит времени пересчитывать вечность. Кто из нас лишний, много раз возвращаясь к расстоянию — большему, чем это нужно твоей руке? Укрываться или прятаться там, где в твоих глазах ее уже нет?

Ту — любить, эту — пожалеть. Переходя стеклянными полями без правил, любишь ли? жалеешь? Та, которая перестает отзываться на имя. Та, чьи волосы очерчивают черный круг новогодней усталости. Разве здесь тебя еще кто-то ждет? Не пересказывай ей чужие черновики — такая пропажа бывает только однажды. Глиняные чашки, полные воды, чтобы в них могло отразиться лицо умершего бога. Только крапивный мешок шьют ласточки, влетая в каменную пустоту узнавания. И разве тебе так нужен этот великий шелковый путь, качающий песок и солнце? Та — из глубины точки, эта — внутри листа бумаги, плачет — значит, сможешь опять пожалеть. Прохладное равновесие сомкнулось, не отражение, не улыбка. Ты не сможешь опоздать — ее просто нет. Подойди, прикоснись, поцелуй пустоту, свернувшуюся внутри дыхания. И уже все равно, кого жалеть: нет ни той, ни этой. График отодвинутого пространства.

* * *

Вещи валяются на асфальте — расческа, ключи, сезонка за прошлый месяц. Глаза зажмурены, перед лицом — кирпичная стена. Яркое сзади — падают проезжающие мимо лучи. Ирония повсюду. Отойди — не бойся — не остановят. Ржавые бутылки копошатся в голове. И это означает быть ближе? Детали твоей жизни, подробности твоих ладоней фиксируют тебя на этой формуле. Ты оступаешься. Что означает *этот* красный цвет? Ты стараешься сохранить дистанцию. Как ты меня будешь любить? Синяя рыба, плывущая по облакам. В руках зажаты только виски. Слишком много солнца. Когда же он уйдет из моих снов! — кричишь ты. День после ночи — так много простых вещей между вами. Я не делаю ничего, чтобы

оказаться там. Это слишком близко, чтобы просто быть рядом. Смятые лица, смятые ладони, чистая одежда. Бровень со стеной, с ее мертвой осенью. Ты прав, или это было вчера — мальчики, играющие на пустыре, музыканты, твоя дочь в этих смутных сумереках. Переступать линию других городов. Внутри несколько человек, которые думают, что любят друг друга. Это самое простое, что можно сказать, не разжимая губ. Ты должен забыть о многих вещах — сожалеть о небе, рисовать на песке. Разница между востоком и западом. Никто не поможет тебе слишком много. Пустые карманы, дождь в голове. Руки смеются перед тобой. Расскажи мне о своем городе. В каком окне ты увидишь свой сон. Теперь все это можно вырезать, нажать Save и выключить экран. Завтра, сохраненное тобой, исчезнет. Там, напротив твоего подъезда, на стене заштрихован пароль этого места — все, что останется от тебя и твоей игры.

* * *

Ночь и вода. Бессонная логика моста, вывернутого наизнанку. Здесь все дороги уводят наверх. В голосе отражается руда. Карманы полны мелких камней и щепок. Деревянные гвозди этого дома мешают подслушивать рыбы голоса внутри глухого аквариума. Схватит, уведет, запрет. Засов тяжелый, кованый, узкая решетка. Звенят монетки сквозь воду. Испуганная пружина перил остановит, не позволяя ближе. Украденный, заключенный, тайный. Когда узнают твое имя — просверлят в бортах отверстия — огненное масло, мертвые створки ракушек, вращение круглого стола, кипящая вода твоего выбора. Удается сократить ровно наполовину, наждаком стирая кожу. Там лежащий на спине успевает перевернуться и выполнить обещание. С ним? С ней? Кто остановится спросить? Ржавые подарки, запасные ключи, убегай скорее — это за тобой.

Выздоровление слов. Тебя окликнут, не испугайся своего голоса, отвечающего тому, кто идет позади. Не оправдывайся, ты есть. Иди, заглядывая в окна, разворачивай разговор моли, шелковая гарантия обучит сохранить теплыми следы.

* * *

Спокойные ночи, чистые дни. Не смотрят ничьи глаза. Лишь только для того, чтобы заполнить время. Слишком уж ярко раскрашено и слишком неправдоподобно... Ведь сам же просил — ну, хо-

тя бы обмани! Вот и получаешь ржавые колючки, пустые раковины. Глупости, скажешь? Милые смешные крокодилинки? Смотри, как бы не свернулось оно клубком, не перепутало, чьи ночи ужалить. Молчит, уговаривает, держит за руку. Если бы могла — ее поцелуй не много значат для такого умелого любовника. Несерьезно возражать против такого обращения. Полный смирения поворот головы, выставленный локоть, всего-то и надо — опрокинуться на подушку и ждать. Теперь взгляды сильнее, чем просьбы, — пойми, догадайся, позволь себе ответить так, как ты этого ждешь. Медленно и подробно, не настаивая на голосе, я смогу сказать по-другому. Два удивленных испуга, как иначе убедить, что ты сама хотела этого.

Спеет барбарис, вишни остались только на верхушке, корабли проглатывают пространство и тонут. Нежные заморочки кактусов и бессмертника. Сговорчивые руки вплетают нас в одну и ту же ко-су. Жалоба не достигает другого берега и возвращается обратно. Ну, как ты себя чувствуешь, проведя полночи внутри? Огорчение, смятая постель, расстояние, обозначенное на коробке с мукой, — как же теперь потерять его в таком разрешенном непостоянстве ртутного столбика. Только ночь позволяет эти совместные колючие находки — на часах уже приближается половина (медленно растворенные таблетки, скорость оборотной стороны совершенно незаметна). Как раз для таких случаев и припасено красное одеяло, пошитое из парашютного шелка — эх ты, стойкий оловянный солдатик, оброненный спичечный коробок. Предупреждали же — не подходи, не заглядывай — тонки края у края. Выйдем вместе, предлагает, посмотрим на луну.

Как тут отличить твое бывшее от переполненного выходного. Угольным карандашом штрихует небо.

* * *

Тебя окружает недоверие. Ты проводишь свою жизнь так — по колени в воде, по колени в огне. Любовь доставляет тебе волнений не больше, чем ожидание автобуса. Сквозь стекло потолка — что в этой памяти? Разбитый кофе? Сломанный шоколад? Раковина за спиной, вода уговаривает обернуться. Не поворачивай голову, забудь. Ты не знаешь, как это закончится.

Это значит, снова стать чужими на время — выбирать обратную дорогу, спать на одной половине кровати, медленно и старательно проводить дни. Простуда подсказывает слова — мятные леденцы, лимон. Великий молочный путь от зажженной плиты до руки, ловя-

щей капли. Теперь, когда ты далеко, это лучше — слова собираются в горле, начиная путешествие в болезнь, остывают, плавают в ледяной совершенной воде, крошатся на отдельные звуки.

День пляшущих человечков, которых я вырезаю из желтой бумаги, ночью раскрашиваю в черный цвет и забываю на балконе. Кто скажет тебе: спи, моя хорошая? Голос слишком больно звучит в голове. Снег и вода на ладонях. Мое окно открыто. Сегодня солнце встает на западе.

* * *

За этим вечерним светом — необходимость обойтись без поцелуев. Такое медленное касание тебе не выдержать. Внутри голоса плаются слова. Теплые и слишком горькие — мимо глаз, обращенных в ночь. Принеси сюда горсть песка, муравьи, креветки, спокойные домашние кошмары. Теперь пора отогнуть бумажный уголок синего конверта, где долго пряталась влажная страница, подробность губ, выговаривающих «люблю». Спокойная отстраненность и небрежность. Темный шелковый волос, зашитый в рубашку. Так ли оберегать тебя, плачущую по вечерам? Повесь над своей подушкой полынь и чертополох, медный колокольчик прозвенит в твоем сне, лунное утешение для черной кошки.

* * *

Проси, что хочешь, только не жалобу. Только не синее облако, висящее в углу. Стекло, подписанное твоим именем, словарь суевений — для подарка робкому и нескладному — говори, он услышит. В дождь испугается паук вычитать правильную грамматику дальнего письма. В ящике спрятаны бусины, заколки, булавки и чугунные ножницы — разрезать шелковую перекладину яблочной корзины. А потом отзовется вода — просто так — попугать надоедливого прохожего в очереди за чаем.

СПОСОБ ПРИЧИНЫ

1

выбери вдоль рук те, которые навстречу, скатая земля рассыпает звездные уколы, отмеченные булавками шиповника. черное и мятое ударит по листьям — слизывай потом принесенное ветром, от первого до пятого.

вниз по земле успеет, вздрагивает, пожмет плечами, уведет вдалеке от родинок и коленок. слишком правильное, чтобы уснуть. жестянки, стекло, пыль, желтый профиль на стенке лифта. глаза кофейной чашки расплываются по воде, расплескивают кругом. золото кирпичной стенки, ожог известкового пересечения, перепиши укрытие, укради. поставь запятую в углу этого праздника, начни с нее

2

Пыль, порошок, зубная боль, калитка, круг, уводящая с собой, задумай желание, вот тебе рука, считай до десяти, комариный снег — мелкий, как укус папоротника в ночь сонной луны. Хинин — чуткий краситель береговой спешки. На этот раз гравировка сохранила оттиск молочной черепицы. Враждебный грунт, поддельный графит — вот тебе результат, или итог, или громкая укоризна, условное вино, сомнительный тест. Древесина языческих скороговорок — твой наклонный приз за острое расстояние, длительное произношение.

Крысоливка, жестяная клетка, сохранившая запах внутри медной решетки, такая тебе шелковая ссадина — подставляй ладони, бери горстями бессвязную речь необожженного кирпича. Здесь заканчивается противодействие, утешение достоверного разума. Летучая мышь оставляет электрический чертеж для сохранения неподдельности имитации.

* * *

Я не пытаюсь, я говорю с тобой, в синий выкрашены все цвета, это не сон, если не перевел часы на октябрь, параллельные линии вынуты из меловой коробки, проведены надолго и смело — до дождя, спасением станет снег или трава, дальше — считай: май, первый-второй, ответ, обрыв линии, размытое слово — заново начинай.

Не ищи в этом смысла, просто говори, просто слушай, как дрожит это дно невредимого слова или его повтора сквозь окно до половины второго или третьего, или шестого, или шестка, за которым прячется вечером слюдяной сверчок или время — так далеко увести оно может, если позволить и не возражать.

Переведи это молчание в запах, прикосновение, страх, отыщи эту клавишу, западающую в теле. Оттиск мыши скользит по листу или

воздух в руках, позади наших спин огорчение, спящее в мяте или кусте шиповника, нарисованном на песке.

Цвет твоих отражений, половина секунд, твой телефонный ответ все время занят. Осень внизу, my love и my page, не говори «потому что», не отвечай на вопрос, самый срочный глагол — будущего в прошедшем, отвернись, слишком часто ты повторяешь «боюсь».

Не закрывай глаза — дно открыто — падай — примет вода — тяжесть — радость — и снова — глаза открои — длинные корни, черствые корки льда, пальцы переплети, сожми ладонь, а теперь считай — выдох и вдох за два — повторения или оклика, или глаз — слишком точно слова твои перевели, отойди от них и попробуй второй раз.

Ты хочешь сказать яснее, а получаются только слова, здесь луна появляется раз в году, можно ответить, можно придумать тебя, завтра вырежешь праздничные часы, наклеишь на циферблат или выбросишь. Неназванная вода подтолкнет под коленки, вычислит пульс, полюбит, заставит вернуться туда, где общая память воды или дым — несовершенный глагол бьет под дых.

* * *

Говорить нас kvозь, не всерьез, дерево липа обманывает облака, читая внутри листьев: имена, подготовленные для бросания в воду, зерна, камешки, круги, спирали. Тебя выдаст простой голос луны, что укачивает, заворачиваясь в земляную крошку. Рост и радость позади, внутри коры, обернуться и превратиться, прекратиться в золе и смехе. Дом и дерево, выстроенная стена, плач кирпичей крошит и осипает в жесткую крапиву дня мраморные куски забытья. Не оглядывайся — ты один, и что за спиной — не узнаешь и не узнает. Только лапой кошачьей проведет по затылку, только подует поверх головы — обрадовав твое качающее непостоянство. Под языком — гладкие камни, иноязычье глотая неуверенно и осторожно, выговаривая наощупь, отличая родство и синходительность произношения.

Взгляд полон и руки заняты — туда нести, обратно идти с пустотой, отбрасывая потом — водой, ящерицей, липой.

* * *

Укради из буфета пчел и ос. График движения шифра — осенью и графитом. Черным на стенках кофейных чашек, ластиком по полям (выбери из словаря синоним, пусть это будет «прогулка»). Берег-

стяная жалость к мышам, липовая — к ольхе и черепахе. Смеются ладони, подбирая черные камни, а пальцы плачут по гладким и мокрым. Послушай, как закручивается раковина в темноте, китай шуршит в коробке и пляшет греция на барабане. А в комнате есть тайная надпись: зонтик, термос, карта, два-три теплых сонных зверя. Охраняют твои скрижали. И еще чуть-чуть потайных букв, слишком мелких — сеточка на чужой фотографии под невысоким небом аэропорта — разберешь только гласные — аукать в тумане.

Мне-то не стыдно. Но это не я.

* * *

1

Ожидая — а я смогу. Зависть — уклониться, зависть — ужалить. С четырех углов в серной паутине стеклянным «брось», прохладным «оставь». Звон выпивает сахарное окружение, узкий лаз в со-сульковое небо, электрическое склонение, год все молвит — слово твое из-под воды, тепла, бумажного зонтика. Проснется — уколет. Вспомнит на берегу лабиринта чернеющих букв. Произноси туда, в речь, между охраной деревянных колечек. Зеленое сопровождение внутрь створок голоса ракушек.

2

Всех летающих добровольное опровержение. Вдоль лба пронесут сломанный свет, пустую оговорку. Спроси там, где знаешь, нальют молока с дрожащей поверхности, выставят за окно двенадцать виноградин, зимние капли в домашних простуженных дверях. Разница разность завтра успеет отвернуться. Брысь, окаянная!

3

Внутри — ноль, красный отважный вместо круглого длинного. Ветку согнула вода? звезда? Лестница изморози, утро точильного круга раскручивается в жестяных подарках. Не перепутай: ей — поднятое с земли, правой — дарить, слева — отнимать. Запаянная в лед жесткая горошина яблочного зрения. Светлеет вода, пролитая с краю. Адрес неправилен или компас сломан. Или солнце сменило горизонт, выпадая из чайного кувшина вашего востока на наш западный крыжовенный пирог. Подпись — ангел западного стола.

4

Спросят. Принесут, обойдут со спины — вращайся внутри колбочки на огне спиртовки. Местное время — привыкай опаздывать, смотреть на ветер сквозь ее глаза.

С вечера сложены под подушкой — в сон. Утром подбирать — в снег. Ваши чулки с подарками — наши телефонные огорчения, разве не знает она — это не звонок, не подходит, опомнись. К проруби приведет просыпающееся зерно. Клеточки-квадратики, льняные шахматы, встань лицом в зенит, небо тебя украдет, брусничное поле на том берегу.

5

В городе правильных разговоров кальмары подойдут на завтрак, тебя проглотит бумажная перегородка, рисовая палочка смахнет шелуху китайского фонарика. Вместе с чаем — к дому напротив, искушение ржавой калиткой, буквы влетят меж стекол автобусов. Наклони мир в свою другую сторону. Вода ускользнула, становясь на коньки, догоняй, окружит тебя окружность, ледяные огоньки свернут (на) перекресток. Хозяйка, игуана, черным подсветит на волосы, испугает крашеной вишней. Тебе обещанное завтра. Быстрый испуг змеи — праздник в медовые руки серебряных ос.

6

Рыбы замерзают во льду — в елочных шарах их застывающий вздох. Только отвернись — осколки мелкие как пыль. Деревянная скоропись стола научит бродячие подделки, разрешит пробраться в глубину остывающего зеркала. Проходи. Она подождет.

* * *

Это просто тянется день — скольжением по позвоночникам домов, поднимается воздух со дна города по водосточным трубам замерзшего дыхания. Рядом с елкой — пара башмаков, свечек, воздушных шариков, мед в блюдце. Шаги, ждать, смеяться. Молчание — мимо, входящий вдоль сопротивления, пунктиром играющий стеклянную дробь прикосновений. Сжатые кончики пальцев. Не молоко, не мед, не снежная соль.

Падать, теряя елочные иголки. Ближе, чем свет, громче последнего яблока. Позволено испугаться, потом — отпустит. Не удерживая руки, раскручивать головокружение. «Ты» — нет — в гласные звуки согласия, пока не начался день.

* * *

Ты любишь меня слишком пристально, но в том промежутке между мной и тобой, где нет места. Внутри низкого огня, сквозь твердые и сухие, только едва, пытаясь стекать вдоль позвоночника еловой веткой разговаривая. Местность проще, чем называть, просьба — легче, чем отсутствие. Кромка осторожности — не разжимая губ. Где звучит твой голос, когда телефон отключен? Два расстояния сбиваются в стеклянном, отражающем, заполненном. В глазах — лето. «И это ты называешь благородствием?»

* * *

Северный лист — западный лист.

Ориентируешься по расположению трещин на камнях, вызывая в свою северную сторону на голом сквозняке сушить рубашку в рукавах у серебряного чая. Отсутствие — фантом — куда исчезает тень. Вкус шоколада на губах, которые целуешь в темноте. Отрицательный свет выводит за срез листа все сомнительные опечатки — от ладони до ладони только воздух, роняющий свою последнюю букву в несуществующий алфавит древних языков. Обходясь без слов и красных стоп-сигналов. Запомни место, где тебя нет.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ВОДЫ

Ты — нормальный перпендикуляр, северо-восточный диэлектрик. Кто твои губы облизывает, ловя ускользающий язык, определяя координаты с закрытыми глазами, очерчивая контур тел влажными пальцами? Повинование, покорность (или так — попкорность!?), послушание, вязкое вулканическое стекло — так касаются орбиты, наклонный огонь на середине воды. Соглашайся, пока мне это еще нравится.

Обычное происшествие, скованное принадлежностью дательного падежа. Чем это тебя обидело? Молочный отлив, тонкая рисовая бумага, ее шелковые рукава греют ореховую скорлупу. Сейчас самое

время упомянуть про огонь — промежуток времени в пять дней расходится на воде, и к этому берегу волны уже не доходят. Оставим расстояние внутри, не договаривая очевидное.

Пространство воды за твоей спиной, тень ловит падающий асфальт, бунт вишневых деревьев, бери медные корзинки с уснувшими змеями, в этом лесу переведи часы, заводящиеся без ключа. Лисья нора, волчья лапа, здесь ты боялся забыть дорогу, процарпанную на обратной стороне хрусталика отслоившейся сетчатки. Сумасшедший житель луны — приманка, засада, прописная буква, скатая тетрадной клеткой, попадаешь в последний круг мишени черного чайного дерева. Отзовись на радость мраморного бога, спичечная соломка в руках, зажигай, не медли, хватит тебе этого солнечного оборота, нагреешь свою кружку воды, зачерпнутую из пространства, оказавшегося за спиной.

Самое пристальное занятие — перекатывать стрелку по экрану, неизменная прочность, пристальное постоянство. Теперь не надо железом по железу, стекло сторожит обозначение времени. Поверхность откровенна и небрежна. Попробуй, поймай ее на совершенной безупречности. Шарик для мышки, мышка в Москве, змей копит свой гнев — пауза внутри периода.

Серый, полосатый, цветной, глаза в крапинку, такое солнечное время ящериц на зеленом ночном, только успеешь спасти от средиземного моря рыхлую медузу. Пиши записку поверх пыли — встретиться там, где торговец шелком ловит селедку, заворачиваясь в холод метрополии. Полуденная соль ржавого и колкого, тысячелистник середины августа, твое морское прошлое сворачивает горизонт мимо солнца, упывающий огонь на башне маяка. Нам — опечатка, сбежавший кофе, подогретое молоко, рассыпанные зерна граната, размолвка, недоумение, утренний чай.

Посланный с поручением, принимается строить известковую дорогу. Коричневая краска в окне, на плите плавится привычное вечернее время. Ритуал совместного разнообразия игнорирует слово «должен». Вернется домой с непроизносимой буквой во рту осваивать науку об облаках, соломенных подушках, крапивных поцелуях.

Сон в глазах, азиатская серная жизнь, вспыхнет — сгоришь, обожжешься о медные перила, расплавишь всю графитовую помощь простых карандашей. Кто из них наконец, тот не устанет, пыльный насквозь, возьми за руку, приведи, окружи водой и голосом, потом уснет рядом, потом не будет благодарить. Слушай, как стучит в дверь, скребется в стену, впустишь — опоздаешь, забудешь — помиришься, гло-

тай чайные чаинки, горькую сырь на дне стакана, дрожащую желтую воду, лимонную тяжесть, рассыпанную по углам рта.

ПРОЩЕ, ЧЕМ СВЕТ

Всего лишь таяние около зеленого. Потом — немножко вежливая книжность — осталось только несколько камней, далеко ли до потопа — знают рыбы, опускающиеся на дно. Только слово сказать, отобрать чешуйки у ящерицы, та, что перебирает зерно на ночь, чтобы выложить по карте лестницу приближения. Рассеянные птицы пересекают экватор, разбрасывая песок в каплях побережья. Охраняй этот курсив на разграфленной бумаге, провожай до двери, до линии, разделяющей последовательность тени от руки до руки — всего лишь лишнее упрямство, позволь ей это — разговор на незнакомом языке — мимо губ, после возвращения, против остающихся внутри другого берега. Возле такой воды каменное кружение, пропущенная подробность.

Продли свой день, не успевая сказать ничего из того, что само предлагает себя на оконном огне. Защитная полоса вдоль рукава — безупречная служба обычного почтового конверта, иерогlyph креста вместо подписи — как узнаешь о том, что прошло время имени?

Не верь обещаниям, не трать время на выполнение домашнего задания, когда на улице ждет апрель. Лучшая проверка — импровизация, когда на придумывание просто не остается времени, лучший ответ — улыбка, улыбнись мне там, посреди воздуха, пыли, китайского гостеприимства, сбегая от присмотра рыжей водокачки в пригородную крапиву и кирпич. Звенят монетки в кармане? Пусть вычисляют твой путь по крошкам печенья — некому их склевать, и игра в кошки-мышки скоро наскучит обеим. Просьбе меня утешить не останется места, потому что нет уже никаких мест, принадлежащих кому-то еще или притворяющихся ими.

СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

1

Ледоход проходит мимо города. Поэтому хорошо представить себе листопад и бродить по щиколотку в острых рассыпающихся ледяных иголочках. Так шуршит полярная змея, проползая внутри тонкого расколотого льда. Прохладно и мокро, хлюпает в ботинках. Ботинки

не выдерживают и расклеиваются. В воду сползают осторожные самарские моржи. Не отвечая на любопытные вопросы, сосредоточенно уплывают за горизонт. Вернутся ли? Прозрачные кристаллы молчат, уводят к самой воде — обрывистой или песчаной. Распинывать хрупкие льдины, удерживая присутствие. Чем еще заменить осторожность уговаривающих губ. Держать льдинку с двух сторон, не прячась, — соединение? отстранение? — такой сомнительный уговор. Когда растает — сама упадет, приближая прикосновение или определяя расстояние. Так тихонечко причастие превращается в глагол совершенного вида. Края сходятся, принимая в себя. Чтобы привычка не помешала, не подходи ближе, останься.

2

Ломкий холод внутри белой тишины. Апрель выговаривает дрожащие буквы — противоречие или согласие. Тепло твоей руки продолжает таять. Пузырьки воздуха и сохраненная прозрачность. Аукает с того берега летняя забывчивость, каменная дорога, спокойная возможность — прикоснись, я здесь. Воздух штрихует пропущенную внимательность. Опыт приближения растягивает и сминает растущую длительность. Отзовись — просит светлое в глубине, обойди привычное, проваливаясь в ледяные трещины расплывающегося берега. Красный цветок в руке — так продолжается вода, не принимая возражений. Твоя текущая вода — моя молчащая вода. Льдинка между. Таёт.

ПЕЧАЛЬ И ПЫЛЬ

Источник: северо-запад, ближе к окну. Время — пересекающее.

Ключевые слова: вечер, песок, русский квартал.

Узор чугунной решетки не желает выпускать зрение, осторожно наблюдающее привычный разворот снега в лицо серому человеку, медленно спящему вместе со своей повозкой.

Проволочный изгиб пытается удержать в тени, белый сон — вертикальная мягкая соль, прижми ладонь — шершавая пяденица слетает в траву, лови, подбрасывай водяного змея — прочная радость земляных сов. Спи теперь. После запинающейся речи, облокотившись на солнечный пейзаж железнодорожного моста. Там, где весь

день обещают только ливень. Протяженность тени обманет тебя и не ответит на прикосновение, подарив деревянную правильность мостовой. Желтая прозрачность гордится исчезающей головоломкой воздуха, рассматривая вырезанные из красного пространства многоточия. Щелкаешь по кнопке, указанной в руке, — получаешь пустоту, мягко выговаривающую гласные звуки.

Ключевые слова: город, транспорт, круглые листья на воде — разрезанные зеленые лимоны.

Серебро уличных фонарей — сквозь дождь или туман, ночь, свет, отражение. Приходится переворачивать страницу — осторожно ссыпая в руки черную чешую города. Оглянись — тебя никто не догоняет, опыт смутных светлячков, дрожащих перекрестков, чайная и рисовая память вдоль горизонта. Слушай — на том берегу речки Стикс — продолжение снега внутрь бревенчатого летнего недоразумения. Всего лишь вокзал, пересказывающий чужие голоса прежде запоминания.

Ключевые слова: портрет, набережная, причал.

Кирпичное совершенство поднимается вверх к рыжему воздуху точечного восторга, прикосновение его лучей — ключик, упавший в трещину между временами, укол кислородного шпиля под пятку, коленку, чайную чашечку локтевого сгиба. Подходит — выше, смотрит — вровень, удержит — не бросит. Время — пора между телефонных проводов, мимо травяной чепухи оглохшей крапивы. Возле моста, плетущего кружева крыш, дверей и печных заслонок. Место на привязи — к берегу или к воде? Пористый язык бумаги — избыточность черно-белого кадра в пространстве текущей реки.

Ключевые слова: в тени.

Когда не отзывается — место для приглашения — такая нечеткая печать — сквозь нее — крылья бабочки, летящие воздушные шары, гремящие барабаны, глиняные тарелки. Вечернее — заходи, утреннее — постой. Картавый засов пригородной пятницы. Просыпаешься — просыпаешь сон — между рук — высыпаешь — разорванной сетью — из волос выплывает зеленая сумрачная рыба. Восток разбивается, чтобы наполнить простое обозначение стекляшек калей-

доскопа, пригодных для ежевечернего складывания ледяного слова. Город, связанный рекой, остается скучать по тебе.

Ключевые слова: вниз по уголкам, улица, зима.

После черно-белой фотографии, уговорит завернуть ожидание в хрустящую бумагу шагов — сосчитанные квадратики дня, отпущенные книжные закладки. Каждый ветер придумывает свою пыль. Древесные полы, каменные этажерки. Теперь раскачет мостик близкое крутящееся наводнение. Город — осыпающийся муравейник, засыпающий сон, переход перекрестка по тени, оставленной змеей, укладываясь в график дорожного происшествия.

Ключевые слова: отсутствующие.

Вдоль берега, выкрашенного коричневым, — к невозможности узнавания, прибавляя исчезающее к твоему перемещению, к туто-вому дереву, держа в руках свернутый лист. Кольцо ножниц застрынет около ажурных перил моста. Пляшущие человечки ловят кренящиеся улицы. Зеленое — лес, красное — сеть, желтое — паром сквозь илистую воду, незаполненность белых окраин — убегать сквозь фиолетовую нитку несуществующей подземки.

ОГОНЬ НА СЕРЕДИНЕ ВОДЫ

1

Вход, обращенный на юг. Нижняя рамка — граница воды. Створка окна, падающая в темный воздух, — желание промолчать. Деревянные столбики, обвязанные паутиной, — если это и слова, то монотонно и в дождь, — кто правильно и быстро определит интонацию. Спящие внутри украденные запятые — блеск стекла, шипение масла, металлический свет ртутных ламп — лопнувшая почка марковского дерева. Прибереги желтые кувшины с водой и уксусом — смывать тушь с каменных реек городских стен.

Лотосовый лед, красные рыбы заблудились в деревянных зарослях лодок, везущих коричневый воздух длинных шелковых водорослей. Остановленный день, оставленный пробел, ожидающий узкий проход вдоль тины и взгляда. Уходи, не оглядываясь, затянет, заставит каждый день вплывать в подводные ворота — праздничное платье небесной швеи. Квадратные весла, острые кирпичи, круглая

вода дышит в лицо — попробуй не отстранись под темным небом испугавшихся веток.

2

Башня, растущая внутрь. Найти на плане города гибкие трещины мостовой и гипсовые осколки. Зачем тебе этот лабиринт? Найти выход или заблудиться? Идущий под зонтиком пруд, каменная улитка, спрятавшая запах кофе. Я тихо говорю тебе — вода, и добираюсь туда с помощью земли, вовремя придумав скользящее слово «усталость» для жесткой реки с твердыми берегами.

Чайная чашка — муравьиные слезы, внизу смеется падающая гора, четырьмя руками ветра держащая воздух над маяком. Тебе приходится стать частью остановившегося пейзажа, чтобы поймать голосочных фонариков на замерзшем мосту изогнувшейся гусеницы.

3

Красные огни и золотые звездочки. Радость восточного базара — чайные ящики и долгие уговоры. Круглое письмо шерстяной бабочки, время, тикающее у плеча случайной спутницы. Соломинки в траве, бархатное колесо сосен и ручейков, туман в конце улицы. Зеленый воздух времени, каменная жалость, земляные насыпи. Я отведу тебя вниз — в прохладную горькую воду, к смоляным горячим источникам — отмывать память от белого льда среднерусского города, поверившего жалобам кукушки. Облако северной зимы, блеск паутины и черная точка невидимой лодки на другом берегу, где ждет тебя — кто?

1а

Не спеши, помедли в этом квадрате одиннадцати ворот. Мы выйдем рано, когда здесь — только роса на стенах. Поцелуй камень, когда захочешь пить. Обвязанная красной лентой река разворачивает свой песок — она уходит. Начало и конец шелкового пути. Внутри самого далекого шелковичного листа не спит коричневая бабочка. Голос после дождя. Мраморная пыль — еще миллион ожидает снаружи. Кто проберется в самый центр лабиринта — потеряет обертку самого спелого южного фрукта. Заблудишься в сетке пересекающихся улиц. Заходи — небо открыто. Увези этот свет между двумя взмахами маятника. Колокольная башня — хороший и пра-

вильный сторож — притянет к центру все разбегающиеся кварталы. Не проси воды — желтые кувшинки, пустые стеклянные трубочки, глаза, что смотрят вдоль. Здесь твой выбор, не пугай спящих баранщиков.

Вниз — через южные ворота — к отломившейся ветке сухой лиственницы — сравнивать коричневые листы Пятикнижия с медленной усталостью в момент падения тутовой середины в кипящую чашку произнесенной молитвы.

2а

Место для «оглянись». Там, где пыль сложена ровными квадратами — поселения для мертвых. Верблюды, привязанные шелковой нитью к раскачивающемуся меридиану. Замкнутость улиц, веревочная обязанность восточных марионеток. Твоя осторожность дотягивается до меня. Бросай свою монетку — другой воды не будет. Зажавленное колесико отсутствия, рыжее колючее препятствие — утреннее молчание выключает выдох телефонной трубки.

3а

Теперь облака достигли середины. С этой горы — по пояс в тумане. Уличный художник рисует на мостовой математические знаки препинания: разность квадратов, голос восклицаний — скажи это снова, повтори — она не услышит. Деревянный ключ, пыльный призрак скамеек в пустом городе. Другое путешествие закрывает глаза за темнотой. Время мыши, змеи, терракотовая память каменной летописи на серой черепице восточных ворот.

* * *

Треугольники крыши. Самые грозные львы возле твоих дверей. Бабочка, исчезнувшая на середине шелкового пути, становится своим сном, повторяющимся в одну из ночей. Пересекая твое путешествие пунктиром мелкого воздуха — ключи от неба, упавшие со спины серебряной черепахи. Город раскрашивает себя водой, громкие голоса набережной, цепи гудков, привязывающие улицы к морю. Тебе в ответ будет тишина — там, на побережье, возле устья окаменевшей ракушки. Сон — собеседник, густой лак внезапного наводнения — стеклянные шары бус, фонарей, сложенных ладоней.

Встретиться на самой середине небесного мостика, ведущего ко входу в магазин.

Встань в проеме круглых ворот, вычисли число изгибов бронзовой решетки, повторяющей тело четырехпалого дракона, — положи камень внутрь глиняной пустоты красной черепицы. Серые гусеницы крыш стерегут пасмурную погоду кружевной дырявой страны. Один из ее прозрачных осколков ты носишь на шее — зеленая нитка, ленивое сползание по ключице вниз, исчезая из предложенного цвета.

Тысяча легких ступенек — воздух подталкивает в ритме прилива — остающиеся песчинки запоминают рисунок облаков в окошке каменной каллиграфии.

внутри персонажа

ВНУТРИ ПЕРСОНАЖА

Здесь

Когда не хватает времени для — стать персонажем, но есть день, ночь и день. Подробности, мелочи, частности. Россыпь камешков, хлебных крошек, чтобы указать путь к —

С двух сторон узкой улицы, пересекая наискосок, — солнце, встреченное на середине. Так впервые — руки, глаза, разомкнувшееся кольцо двойного погружения.

Бесконечная середина и длинный пробел между ты и ты. Разве с этого начинают? Когда пальцы вниз по беззащитному открытому позвоночнику — после чьего ожидания, заблудившись между причастиями и промедлением. Когда глаза запрокинуты внутрь — тебя? меня? Есть здесь что-то от нас, или мы остались в дневном времени, а здесь горизонталь Я и Ты? Вдоль комнаты и ночи. Чья сторона отклинулась первой, когда прочиталось отсутствие бога, наблюдающего за равновесием? Начало, уходящее в глубину. Здесь — только продолжение, дление между губ. Как удержать остаток утреннего сна, когда все умещается только в молчании. Та темнота, где между — только мы, с двух сторон ночи, переходя из твоих рук в мои, чей стук отзовется, когда окликнет второй. Свет внутри ускользания, отпуская, принимая, отдавая. Белизна в сон, в одной скорлупе — вспомнишь? забудешь? Удастся ли проскользнуть между слов? Трешины воздуха, сквозь который плыть, сплетая пальцы за спиной друг друга, пока выдерживает память. Отогнув страницу встречи — ты запомнишь? Ты забудешь? Не отводя взгляда, воздух смешивает два дыхания, так устают губы. Внутри горизонта. Сквозь нас, которые я и ты, минута мы — нас там нет, соединенные только и сейчас, у которого нет тогда и потом — лишь воздух между я и ты — внутренняя одномоментность. Когда входишь в комнату и видишь те же книги, что и за тысячу километров отсюда. Не со-

единение, не противостояние. Только касание, сначала в языке, в речи, потом — дольше и легче — дрожащее тире ночи расходуется с обеих сторон. На расстоянии дыхания, не позволяя спрятаться в оболочку тела. Ты размыкаешь меня из себя вовне, в то пространство, которое слишком долго оставалось недоступным и необходимым.

Невидимый шифровальщик изучает на нас свою азбуку Морзе: день — тире — ночь — точка — день — тире. Длинный — короткий — длинный. Не фраза — буква, стоящая в середине. Давай ее продолжим в обе стороны, пока пространство свободно и позволяет не думать о выборе словаря. Пока слова рядом, не закрывая глаз внутри поцелуя. Обнаженность. Фрагменты. Речи?

Другое время

Кусающая вода лижет смуглую руку железнодорожного моста. Здесь можно только остановиться. Тот, кто рядом, — тот далеко, сверяясь с голосом внутри своего телефона. Чье отсутствие вызывает его из их совместного — рука в руке? И руки мгновенно заняты — отсутствующим. Не знает, что «потом» стало «сейчас». Водяные дребезги и трещины, воздух разведенных мостов — кому-то удается пройти по середине занятого пространства. Меньше и мельче, оболочка настоящего. Узнает он чтение по слогам невыученной речи? Крапива и одуванчики, ребра решеток, олово проникает в его кровь. Поздняя возможность — ударяясь о льдины — мертвые рыбы, пузырьки воздуха по венам. Она — пересеченная местность, оставленная записка, отраженная от стены упором раздвинутых рук, — на то пространство, что расходуется по льготному тарифу. Он, собирающий части общего времени, — вычитай, дели — логика и математика еще никого не подводила. Выведи закон приближенного третьего. Их совмещенная тень на глазах краеугольного города, выходящего боком к реке и вокзалу. Откомментированная глава выброшена, чтобы не смущать оставшееся своим неуместным знанием. Ниточка прикосновений — перила, железо, внутрь ветра, завернувшись в свое отсутствие. Я и Ты разделены на Она и Он, персонажи зрения, рукописные значки корректора, водяные буквы — свидетели подлинности. Грамматика распадается на правила, он входит в ее исключение, где подлинность не важна. Разъединение в глазах. По обе стороны длящейся речи, расходящейся все

дальше от ее источника, от ее середины, полныи, запрокинутого ночного лица, отброшенного шепота, слушай — этот стук на двоих, — разрезая неправильно заполненные страницы карандашной трещиной, — от усталости, озоба, натянутого горизонта взгляда. Что там еще предполагает синтаксис? И не пора ли переходить к состояниям того вещества, что составляет их состояние? Вынырнуть в происходящее, предметное — узелковое письмо на шерстяной нитке черно-белого растворения. Бог ли это обернулся?

Вниз — квадратными окочками трамвая — к воде и железу, каменным пестрым рыбам, задохнувшимся в горьком небе пруда. Глазами самой черной кошки она говорила, сверяясь с шагами, — дальше — чуть меньше воздуха — дальше, — переходя открывшееся пространство отчуждения. Каждый — к своим персонажам.

Сейчас

Откуда вытаскивать слова, если автор и персонаж — внутри? Кто сейчас здесь из нас — обе на полдороге к городу и дому — вниз к реке, и вверх к осыпающимся окнам прозрачных комнат. Время, обозначенное в запястье, — ровно половину твоего придется взять в приготовленные руки. Нарисованная на сетчатке, зрачок опрокидывается в ночь — вкус твоих губ принесет в дождь опаздывающий путник. Вишневая моль обернется — расскажи ей про нас. Каменная случайность встречи — чьи просьбы сильнее? И путь пробирается на горизонтали контурной карты сквозь трещины, склеенные листы, линии московского метро. Нарисованный город, бумажный поезд — две стороны у ветра, твой будет западным у края каждого стола. Твое — прозрачное, зеленое, обернись на этой стороне взгляда — недлинный путь к чьей середине? Сонная полоска света ожидает — проговори код своей двери — он первым придет в любое утро.

Длинные сны, падающие из рук, считалки по четвергам. Где мое воскресенье — там твоя суббота. Бровень с началом недели корабли раскрываются навстречу мостам. Где поперечные угольки соли в руках к ближайшему открытому морю и маятнику. Пешеходный ритм поезда, утро — к вечеру, Марья-Моревна остается за всеми ее землями прядь свою пепельную паутину, выбирать крупную сеть ежедневного «мы» и «нас», закрывая глаза сумеркам. Слова, спря-

танные в буквы славянского алфавита. Ей — четыре или пять, ему — четыре или девять. Углами и перекрестками, именем персонажа — не клянись в этом подъезде на чужом этаже белой комнаты, не клянись в этот сон — застанешь ее — заставишь — застоявшаяся вода предложит — оглянись. Скажет во сне имя, сон — это ты? Не только тот, кто произнесет все буквы этой книги — хватит ли края страницы, к которому — дольше, чем —

Позволяя им стать персонажами, между перил моста только цветной дым двойной rainbow. Промежуток между взмахом и всплеском — чья монета остановит круги. Список сбывающихся снов, реестр петербургских мостов — вдоль набережной, обходя город по периметру всех обнаруженных рек, речек — вплотную к речи. Горло города гремит ядовитой жестью — праздники на полуслове. Бумажные строчки она обменяет на шелковые и выбросит в воду. Здесь начинается великий шелковый путь. Они расскажут об этом вместе с тобой, «о» — жестяное и плоское, «р» — кисточкой по губам, совместные буквы располагаются по обеим сторонам вагонного стекла. Она — то, которое внутри. Он выйдет на станции, каменный укор молчащих водокачек, папирус свернут и знаки уснули, которое из них теперь — ты? Возвращение внутрь глаз — странник, оставляющий перечень дел — уличающий список, оправдательный союз сложного предположения. Завтра она проснется вместе.

Следы-ежики из золотой коробочки комнаты той, что молчит в пространстве третьего этажа. Ему в руки ее голос — слишком много скопилось места на этом автоответчике. Пока она спит, он сможет расходовать воздух между числами ее возраста. Расстояние, не пройденное в обратном направлении, сохраняет персонажей вместе. Восток просыпается через Атлантику, через порог, сквозь сито дня и вечера — прибавить разницу во времени, вычесть географию — получишь ежевичный пирог, крыжовенный цвет ее глаз в темноте. Между губ и губ — пространство уличного фонаря, китайского фонарика, — ей не дотянуться. Той, которая устанет прежде, чем он выдохнет. Между двумя краями ее болезни — двойной билет в обратную сторону, камень во рту ожидающей змеи, не возвращайся.

Ответ — в сторону азбуки, словаря непроизнесенных слов, потекшихся в песке, воде, земле и асфальтовых мостовых. Круглое безнадежное и длинное осыпающееся — городской пруд, мимо которого всегда мимо. И она проговаривает английские слова, сминая языком все определенные артикли и выбрасывая необходимость предлогов и причин за ту линию железнодорожной станции, что отводит глаза по краям. Медленное узнавание на дне глаз. Благая весть, посланная по e-mail.

Из предлогов

Графикой китайского словаря лечить стоящее внутри слов препятствие. Окна колокольчики звенят насквозь. Голос присутствия того, кто отсутствует. Кувшин, слепленный для твоих губ, каждый стеклянный секрет обеспечивает себе место в твоей собственной водяной стене. Мы говорим с тобой? Она опережает дистанцию ровно наполовину, чтобы он не смог прочитать оборот страницы, окликая летний день. Имена и имена — как ее звали в четверг? Здесь, на дне полудня?

Например, осы, летающие внутри ее английских слов, когда она становилась кем-то другим, раскладывая подорожник и ромашку, крапиву и зеленые яблоки. «Да» становилось рядом, и тогда другое «да» оставалось слушать, как плавится песок в ее шагах. Определяет его прошлое тремя лепестками — трава, ветер, западные ворота, полная луна этой ночью. Ее пересеченная история из двух десятков страниц, косточками позвоночника напоминает: вкус, цвет, рисунок в углу окна, сонная игра плюшевого зверя. Ее маленькое имя отзыается, даже если она сама не успевает этого заметить. Если ты думаешь о них, то как солнце вернется в тень своего света, используя для начала двести восемьдесят килобайт твоего личного времени? Вряд ли потом они заметят твое отсутствие.

ТОЙ, КОТОРАЯ ОБЕРНУЛАСЬ

И что теперь делать с украденной фотографией? Он предпочитает молча вернуться к «ты», она остается со своими завтрашними снами. Это поздний вечер или слишком раннее утро на твоем буильнике, стоящем внутри запястья снежной девочки? Утро черных

жука и черных камней, у нее на ладонях греется солнце в рыжих пятнах воздушного шоколада. Как теперь разделить губы на ее, твои и его? Кто-то собирает их из разных историй между троллейбусом, клепсидрой и шиповником. Слишком очевидное, чтобы было можно испугаться, когда она обернется, когда ее окликнет, — сумеешь ли спрятаться в рассыпающихся глазах или в тех, что напротив?

Здесь, на противоположной стороне взгляда, между «ты» и «он» — успевающая спрятаться внутри персонажа.

И твой хриплый разговорный, настоящий на ночной простуде, качается по амплитуде градусника, останавливая ртутную робость где-то на середине между положенным и отвлеченным. Между мной и ею на расстоянии выдоха, на уровне двух этажей разницы. Мое приближение ровно настолько, насколько тебя относит — кто за кем следует? где прямая сторона, и где обратная? Расстояние, вжатое в зрачок, читающее себя по словарям. Вдоль стены, произносящей «нет», куда тебя отшатывает перед тем, как он звонит в дверь. И отпускает до завтра, до избытка этого сна вдвоем, до лестницы, сводящей в расшатанную тьму зрачков. Как будто снизу холодной ладонью водит по стеклу, запоминая ответ и продолжение, рассказывая тому из нас, кто не спит. Из колотящейся боязни, из кулака, развернутого щепотью, из сквозящего мимо губ. И самым маленьким шрифтом, уходя в минус бесконечность, набирать буквы твоего имени. Расплюывающийся по лицу курсивом. Там, откуда можно только вспять, выхватывая глагол «возвращаться». Сеть захватывает донную траву.

РАСКАЧИВАЮЩИЙСЯ АЛФАВИТ

Из пункта «А» ты станешь пунктом «Б», идущий вдоль горизонта к другой задаче, к третьему разговору между камнями рек или рук, или ручьев. Запутавшись в зеркале, внутри сквозняка запятых. Грамматика географии руки с пустотой вертикального пути. Простые вещи — орешник, пульс запястья. Так исчезает температура, испаряется цвет волос, от улыбки до взгляда — через дождь и мост — тебя торопит течение речи — ускоряется условный знак переноса, сомневается знак препинания, распространяется сквозь — ставни, черепицы, решетки, осколки. Перечитай, отвернись, задай вопрос остающе-

муся. Разговаривать лестницами, ступенями азбуки, черносливом и карамелью. На языке — путь, на их языке — перевод глохнет от всех твоих шипящих между двумя щелями: буквой Ё и ее отражениями. Тире — путь, находка, наст — все ближе к краю. Доски на песке, корабли крошат мел востока, раздвигают звуки сухих водорослей, дрожа на языке жалящей змеи. Окрестность переполняет зрачок. Время идет на ощупь азбукой Брайля, пунктиром стрижей и арабской вязью траекторий лимонниц. И ночь как три точки в конце страны. И речь, запятая, тире — пробел между будущим и Востоком — расходуется — становится двоеточием между тобой и мной. Твоя очередь объяснять молчание.

ВНУТРИ ВНУТРИ

План города, второпях засунутый тобой в рюкзак, оказался на французском языке. Хорошо, что латиница, она и в Африке... Впрочем, твоего знания французского хватило на чуть большее, чем карта, — поцелуй на любом языке —

Ты уводишь меня от того, что предполагается, но не происходит. Молчание утреннего города, в чьих руках так опрометчиво оказалась — пойдем вдоль или поперек — вдоль двух рек? спускаясь в устье круглого течения. Разве что поселиться двумя этажами выше, чтобы не пугатьсяочных звонков.

Городам свойственно сопротивляться. Этот сопротивляется дольше всех — отводит глаза на желтые скамейки и полосатые решетки деревянных домов, на серпантин набережной и укусы пчел. Пока приходится — след в след, потом ты проявишься на китайской пленке с искаженным цветом глаз. Там, в стороне от центральных улиц и общественных мест, руки забывают бояться, здесь тебя окликнут и вернут — не убегай слишком далеко, туда, где не стоит бояться окраин. Приходится чертить маршрут прямо по коже — желтой веткой, шиповником, незамеченным гвоздем, торчащим из забора. Ну что, теперь у нас с тобой одинаковые отметины?

Начнем с полудня — одно солнце на двоих, вытянутое во времени. Смотреть в лицо города, сравнивая металлические опилки и деревянные ребра речных ярусов — там под мостами живет оклик — ты успеваешь обернуться на обожженные пальцы, купленным янтарем освещая свою тень за створками голоса. Речь и речь.

И по венам отправляются гулять две оболочки от пустоты. Говори с той, которая всегда опаздывает. После стекла, после лета, после после. Ты запишешь ее в свой черновик, зачеркивая первую букву имени, которую здесь заставили стать памятником. Кто ты сейчас — елка? ежик? единичка, пугающаяся самой себя? Ты становишься гостем, наступая на свою тень, возможность обернуться, и черные галки уносят в клювах песок твоему дому. Здесь, на коричневой земле, продолжается вчера. Нам с тобой — заглядывать в чашки с водой в поисках отражения времени, когда я и ты становимся мы, без нас, без рядом. Когда вовне и отдельно, между стеклом и песком, ответом и жалобой.

Ладони разговаривают сквозь стекло, используя неровности с двух сторон азбуки Брайля. Потом мы отпечатаем его на сетчатке глаз, на самом глубоком дне речного взгляда, которое может только присниться. Медленный опыт кровосмешения. Ты ловишь огоньки сквозь ночь; та, что ждет, располагает стрелки будильника по каплям дождя с западной стороны.

Ты говоришь: дальше,ольше дней, уходящее из-под ног.

По времени плыли в бывременье, соединяя края лопнувшей пустоты. Город медленно вырастал из «ты», с «тобой», отпуская руки — ему хотелось побить только с самим собой — без путешествующих по нему, в закрученном спиралью пространстве отсутствия, в точке, нарисованной синим светофором-дальтоником, внутри черешни или яблока — в самой середине, где косточка готовится стать острием, жалом пчелы, колючкой под кожей.

Выговаривать тебя по буквам, что отстали от алфавита, которые тебе отыскивать на карте, переводя латынь в кириллицу и еще дальше — в водяные соты, паутинные знаки, подписи от руки — твои поверх моих — как ладонь на ладони — я переверну свою навстречу.

Мы находимся в месте, обозначенном как «тишина» или любым другим его аналогом, — молчанием, отсутствием звуков, ты переворишь его моим именем, переходя на греческий, — запрещением говорить здесь — после того, что происходит внутри. Местность на карте обозначена будет иначе — речью, что прячется теперь в твоем имени.

Сюжет растягивается, город вписан в тетрадь рядом с тобой, голоса вмешиваются в дома. От твоей гостиницы до моей десять минут, обратно — пятнадцать. Можно сбежать вечером почти под любым предлогом. Никто не узнает — улица безразлична — и можно идти в твои руки в любом неподходящем месте. Город движется

внутри твоих зрачков, кроме совпадения будет и узнавание — долго и бережно. Точка середины сдвигается и расходуется на приближение. Кто из нас удержит расстояние утреннего выдоха? Привыкая к полночи за спиной.

Один из нас уезжающий, кто из нас — остающийся? Продлевая путь к тому из вокзалов, что спрятался внутри водяного зрачка, раскрашивая в утренние цвета ладони, волосы и ветер.

УБИРАЯ ЗНАКИ

Убирая знаки препинания с дороги, начинающейся возле середины декабря. Когда ласточки и гнездо, и воздушные краны запечатали воском. Красное на глаза. Внутри Большой Медведицы, давая имена всем встреченным летучим мышам. Как она потратит свой выходной? Эти окна разглядывают улицу. Ты отвернешься в обе стороны — зимние шерстяные бабочки молча и тайно съедают дорогу в лето.

Происходящее утром, между несколькими снами. Ты отворачивалась и проборматывала заклинания для рыжей фотографии на стене. Пойманная, поймешь, когда время отодвинет, придвинется — жарким боком, недопитым чаем, крошками или иголками, рассыпанными поперек тайного мышиного хода. Как он ее разбудит, если время еще не началось? Он ставит галочки, листая ее дневник, там, где кошачьи лапы опрокинули чернила, следы по холоду стекла, у подножия ее деепричастных страхов. Один из них он обнаруживает в своей записной книжке. Мой телефонный звонок внутри зимних деревьев, в чужом городе, с другим именем. Разве ты не мог подумать, что это она? Праздник разбитых черепиц, она не просыпается — только протянет руку. Что ты думаешь, стоя у двери, — близкое чередование стальных и медных, прежде чем в ее ладонь уронишь свой выдох? Не она попросит тебя сосчитать шаги, поднимаясь к ее отражению, силуэту, тени, кружеву голоса, — извилистый путь знает его рука — нет времени на оклик, на отклик, опрокидываясь в «опять не уснуть», в солнную воду ее лодыжек, локтей, коленей — всей длинной изнанки — до самого дальнего выдоха, что начинается уже у двери.

И круглая радость — разницу он незаметно вычтет, когда пространство имени высыхает на его губах. Разница — радость — крабо-

вый панцирь — звезды на потолке несуществующей ночи, кто донесет до нее изморозь его улыбающегося «здравствуй» возле сухой ветки чертополоха? Ливень всех будущих этажей, свернутыми лестницами ждущая в расплавленной середине, всеми буквами своего имени — сильнее просьбы. Как снова увидеть ее лицо — вторник, вечер, я буду внимательнее, когда ты, обернувшись, расскажешь свое молчание. Между словами лишь и кроме, внутри соединительной запятой «я» и «мы». Способ откликнуться.

Собирать их в горсти, ссыпать куда-нибудь на подушку, еще лучше — в ящик чужого письменного стола — острые красные, мягкие белые, стрелы и капли. Между лепестками твоего разноцветного письма, рассказывая мир, выбирая из всех середин самую крайнюю, осторожную и неясную, смутную, как тень в зимнем зеркале. Отпечаток твоего «люблю» проваливается в пространство электронного почтового ящика. То, что ты видел желтым, ко мне придет фиолетовым. Кто из нас решил остановить этот день, оставить его закладкой, примечанием, набрать петитом по краю крыш. Те, кто скользят по веревочным петлям воздуха между тобой и мной, вырезая из синего острые треугольники, в которые втекает темнота. Давай попробуем начать с белого.

Следующее, что он скажет ей, будет не словом, а так: чему учатся, когда огонь, вверх, опаздывая на полступеньки. Тебя держат в ладонях — когда забудешь и заснешь. Через утро, через город слушать как свет в окно, минуя тень от дома на противоположной стороне. Проводя ладонью — твоя стена — морские коньки и зеленая вода. Время расходовать время. Твое — стоящее в банке с красной рыбой. Кто из нас обернется — когда навстречу? Подойти и не ошибиться — вдоль «мы», вдоль лба, вода высыхает возле рук. Усталость глиняной чашки — держать летние ветки — соль, клетчатая скатерть, узнавая по наклону букв и прочему синтаксису. Потом оправдаешься, используя клавишу «delete». Куда бы теперь устать в разнице перемен, начинаясь от темно-красного, видимого из левого окна. Стекло, которое не выдерживает. Смотреть, как ты выбираешь между тобой и мной.

Сквозь тебя, немного в сторону севера, к окну обращается после того, как входит. Ближе стекла, по эту сторону, две бумажные полоски, он читает через плечо. Где твой единственный ответ? Отчетливая случайность, — думаешь ты, — растерянный ожог. Мышь-перебежчица возле виска, день переполненного молока, крадучись, расплескивая, твое ожидание втягивает.

Внимательная любовь, что дышит тебе в затылок. Собирать золотое гудение полуденных ос в ласковой скороговорке. Та, что не успела, — не отворачивайся, он все равно не скажет. Минуя вдох, задержится здесь до завтра. Маятник расписания предполагает перекресток выдоха там, где обозначен ответ. Тому, кто пересекает горизонт, сны раскладывают тебя на два пространства — параллельная книга, чьи страницы — ночь.

Стрижей, ужей, кошачью шерсть приносит вода, воздух, крапчатые тапочки — проще босиком — начать с зеленого утра — в цвет букв твоего имени — по одной внутри листа — внутри того, что внутри, — гладит по изнанке кожи.

Фарфоровый бочок яблока, цвет волос вишневого вкуса, в твоем дворе черные галки, полосатые скамейки. Снизу не разглядеть, как меняется цвет твоего времени от молока до кофе. Окна разговаривают сумерками до речного и влажного, до губ, до исчезающих в рамочке фотографии.

I

Поезд — это тоже молчание, текущее внутри неподвижности. Разъединение и обособление — от тебя или к тебе? увозящий или приезжающий? куда? — в обещанное завтра. Откуда? — из завтра, которое тоже будет, но позже, из другого, еще несостоявшегося времени. Расстояние, которое внутри, поезд не перевозит.

- Теперь у нас это называется «разделить ложе»?
- В смысле — одно на двоих?
- В смысле — положить меч между. В смысле второго одеяла.

Чашка кофе, пролитая на твою желтую майку. Ты стремительно коричневеешь.

Вверх, к тому лицу, неуходящему, стекающему, оплывающему в углах речи, закусенные губы, ее робкий язык, тонущий в молчании. Так их разводят в разные стороны, по знакам препинания, по горловым отточиям, утренним заморозкам, ничком в сентябрьские простыни.

Около глаз, размывая следы прикосновений бледного света от лица — лицом к лицу, между рук, сквозящих вдоль позвоночника, в меловую темноту между вкусом губ, зависая на вдохе? попытке слова? несуществования? Расплетая ее испуг, разворачивая к себе и от себя — туда, внутрь, где потом по спине спящего влажной и горькой неприкрытостью стечет подрагивающее присутствие. В котором она потерянется, как в тростнике, между его слов, прикрывая ладонью шепот, вбирая бесшумное тепло засасывающего песчаного кружения, — ты слышишь? ты спишь? Впуская в себя его сон, поверх того, что тебе снилось. К утру вернувшийся вспять той же дорогой, кромешной речью, проговариваемой вслепую между губ и глаз, оглядываясь на краю.

Мы уже там, между тьмой и тьмой, мост, связанный дыханием. Ни берега, ни времени, ни ориентира, кроме голоса, входя как иней в его середину. Пространство чьих рук, взметывающих воздух с гибкими иглами, входит в тебя напролет, навылет?

Утро начиналось с существительного, с создания заново существования, с разделения на ты и я, прививало дневную науку — вот ты, вот я, теперь давай выучим глаголы, только перечислением, увеличивая дистанцию размыканием рук, привыкая к существованию двух, не одного, создавая, отлавливая ускользающие «твое» и «мое». Подожди, мы еще не отбрасываем тени. И день поддерживает твое сиамское противоречие. Разворачиваясь спинами друг к другу, что оставляем между и внутри, посреди пустой комнаты древним способом добывания огня, в распахнутый ритм вздрагивающего беззвучного опровержения, между землей и не-землей. В инфракрасном времени находить по теплу идущего босиком по тянущемуся пространству — обратно — всю ночь — из рук в руки.

- Что ты делаешь этим утром?
- Целую сонные ключицы с родинкой слева.
- Теперь один язык на двоих?
- Нет, вместе в одном языке. На пути к одному внутри. Это процесс или результат?

Раскачивая расстояние, отступать вдоль безопасной границы, пока не втянет в безголосую воронку без памяти. Потом вслепую по траектории прошедшего времени туда, где незапертая дверь, смотреть сквозь лицо, сквозь стеклянное лицо, отраженное в окне электрички, двойной призрак, где каждому — свое. Где тебе — твое и мое, отзываясь между голосом и речью невыговаривающихся слов, соединяясь с твоим языком. Что у тебя на языке? Что с моим языком делает твой язык, и куда им теперь деваться, потерянным при смешении наших языков? Методом вавилона — теперь все заканчивается жестами, горловыми гласными с обеих сторон. Без промежутков и пауз опрокидываться в бессвязную речь прикосновений, сползая в молчание, растущее в крови, становясь одной артериальной впадиной, распадаясь и перемешиваясь, разрывая и срастаясь пуповиной рождения каждую ночь.

Существовать там, на границе, стирая слой за слоем. «Мы с тобой в эфирной близости?», граничит или прилегает то, что становится обменом крови? Пространство, записанное другими словами в ритме психоландшафта его лица. Только к утру она отворачивается, сторожа затылком его дыхание.

Ты проходишь насквозь и оставляешь после себя отверстие, сквозящую дыру, повторяющую твой облик. Контуры, очертание, бьющее в глаза солнце. Семьдесят сантиметров спокойного отчаяния, неторопливой истерики, полуденного снисхождения. Твой самолет зависает над *don't remember*, мой компьютер виснет, отказываясь вспомнить *delete*. Равновесие вытягивает ртуть вдоль августовского столбика, обрывая их через день, через порог, чередуя четные и гласные. Чужая лексика захватывает губы, пробирается вдоль чернил в кофейные зерна, привезенные тобой из Кении.

Способ отъезда обозначен на карте — до Чкаловской, переход на Курскую.

Он срастается с местом, с погодой, ритуал у турникета, они называют это «посмотреть в глаза». Она возвращается еще раз, чтобы услышать его внутри губ, не произнесение, а ритм, притяжение смысла.

— Губы к губам — это поцелуй?

— Это наше настоящее время, перенесенное из другого настоящего.

Он возвращает ее туда, где очередной черновик парализован отсутствующим. Он пишет ее набело. Она переписывает начало, вычеркивая все, что пытается стать сюжетом, избегая точек и всего окончательного. История раздваивается и ведет за границы безопасного письма на минимальную дистанцию речи.

II

Кружение, круг, тема. Ты покидаешь взгляд, вырываешься из зрения, опровергая все законы Ньютона. К обещанному яблоку привязана фрейдовская темнота. Обманывать источники. Пересекая прочитанные страницы крест-накрест, чтобы больше не возвращаться. Чернила расползаются по ручейникам букв, тоже остановленные крест-накрест, с руками, сложенными поверх простыни при непотущенном свете.

Там нет, кроме рта, крошащего их на звуки, расталкивая корни и суффиксы доисторической, кромешной и влажной. Пурпурные рыбы в твоем языке. Ты вытягиваешь ее сквозь иголку, определяя середину точно и безболезненно — она плохо переносит анестезию. В жестах разговаривает единственное определение, пытаясь избежать той запретной темы, которую она сложила в несколько раз и засыпала землей вперемешку с песком, грунтом, приготовленным для посадки дикой клубники.

Сквозь пальцы, меняя кожу, прорастает, сквозь теплое еще и мягкое, раздвигая стенки почти часового ощущения времени. За утро она вспомнит: он вспомнит или это солнечное затмение в ночь на пол-первого?

Ты выговариваешь все быстрее, я не успеваю за тобой, и пропущенные буквы в раздражении падают в мусорную корзину. Уголь-

ные и твердые она сбережет для зимы, гласные окажутся совсем бесполезными. Их он увидит только днем на ее запястье. Обтекая его. В три ряда. Рядом. Приляжешь. Обнимая ветер в ее голове, черное кружево в ее глазах. Ты все еще думаешь, что она — это я?

Кажется, что навзничь совсем нет места, или место всегда пропадает, или она убегает из принадлежащего тебе.

Приснилось: повествование, вокруг запястья змея втекает под кожу, пульсирует немигающими острыми зрачками, ее слезы накапливают кровь в ритме «иди ко мне».

Он смешивал сажу с молоком, красная глина проступала в линиях на ладонях. Ландшафт прилипал к лицу, сливался с ним. Между горизонтом и другим горизонтом тянулась ровная линия затухающего ритма песчаной кардиограммы. Он складывал их в ящик стола — глиняные фигурки, крошечные големы, обитатели туннелей московского метро, крадущие у пассажиров серебряную мелочь.

Она пытается отозваться, в ее волосах красные ленты, яркие гребни, она на цыпочках входит в свой сон, меняет местами страницы в книгах, которые он читает. Стрелки его часов вмещают все, о чем она пишет ему в пространство: когда ты, здесь, поворачиваясь спиной, когда, тебя нет, ждать, внутри тебя, вытри слезы, пожалуйста, не плачь, — отвечает он. Чья ладонь зажимает рот, остается внутри коры дерева, гулять по мраморным кромкам античности.

Разбудишь, чтобы присниться. При-, пре-, пра-, — причитает она, складывая грамматику из перечислений, потом ложится на пол, животом вниз, пересказывает сказки братьев Крым.

Он находит ее по хлебным крошкам. По речной гальке, по халцедонам, спрятанным во рту лягушек. Она думает, что читает Бунина, он думает, что она думает о нем. Путь к ней по коже, нарисованной на ее теле, он добавляет еще несколько. Кто из них молчит там, за стеклом, прижимаясь щекой к свету из окна? Бабочка-моль, девочка-омела, летает в круге света молочная пенка, и мел растет в папоротниковом пожаре в трех километрах от города.

Наутро: на, утро — несет ей в ладонях, спящей, завернувшейся во вчерашнее пространство проводов с ласточками между ними. Ее язычество и его язык не смешиваются, существуя в одном лабиринте без центра — ее не убьет Минотавр, его не спасет шерстяная нить, она не умеет прядь, а кисточки — словесный предлог, а не язык.

Поезд уходит в четверг. Между ним и мной ничего нет, кроме того, что называют, что так называется, что очень просто назвать по-

сле того, как сможешь выговорить. Слова, как место обитания языка, как средство от всего, что он может ей сказать, переходя на латиницу, где «ja tebja ljublju» превращается в магическую фразу, которой древние кельты, возможно, призывали кару небесную на головы своих врагов. Ее отчаяние, отчаявшееся вместиться в 160 знаков банальной sms-ки.

Бог отвернулся, да он и не верит в Бога. — Кто не верит? — Бог. — Слава Богу, — ты шепчешь, которого нету.

По краю речи, по краю, окраинами языка, ее затягивает воронка вращающегося центра. Словарь не помогает справиться с бездождем. Телефон — терапия, отмеряя гомеопатически разрешенные дозы смысла, плюс недостаток бумаги, и строчки уходят в пустоту, обрезанные краем листка. Внутрь задувает с раскрытой страницы, языковой зазор, правило исключенного третьего, связь по e-mail, его телефон отключен, и ее твердеющая графика остается в пространстве пробела, в двоеточии безразличия, когда он начинается с первой буквы своего имени.

*письма по понедельникам.
из варяг — грекам*

Что из варяг несут? Наверное, греков...

искаженная цитата

ПИСЬМО 1

По плану города — там, где надписью бродит зима, за границами черного, горного и шоколадного, больше смешного, чем изначально дорожного, плакать пытается, встречу себе назначает между метро и большой некрасивой погодой. Лес плюс вода, и уважение прохожих, когда умильно ведешь бабку через улицу.

Москва прыгает и кривляется. Шуршит. Вымирает — выходит в мир. И читать про сексуальную жизнь японцев. Фиг ли им с их гейшами.

А знаешь ли, куда на зиму деваются кузнечики? Они улетают в Германию. Из Шереметьева.

Змеи деградируют и размножаются почкованием. Одна такая валяется под книжным шкафом в простра- (-ции, -нстве, -нности, -ченности). А в книжке опять валяется любовная записка. Не нужна, что ли? Тогда возьму себе.

Если все имеет свой смысл, тогда я расставлю книги на твоей полке в строгом идиотском порядке. Их не касалась рука человека... А я тогда кто?

Инициатива наказуема — из одной книги торчит длинный светлый волос. Умные книги читают твои подруги. Как ты думаешь, что это за книга?

ПИСЬМО 2

Если бы ты уезжал за море, то тебе можно было бы увезти с собой бутылку с привязанной к ней веревкой, конец которой оставался бы у меня, мне пришлось бы только тянуть за бутылочку с письмом.

Остается только сказать: «ну что же теперь делать», — и идти мыть окна и заклеивать на зиму. Кто бы и звал туда — в Петербург,

конечно, поеду, там все равно встречаются все, куда уж Костроме и Астрахани. Так пытается догнать прошлое и усаживает напротив, ведь кресло свободно.

А здесь сейчас простая почтовая карточка с белым оборотом, без картинок, с одними линиями и чужими буквами. Ей нравится быть обычной, с простыми мыслями: о погоде, мышах и яблоках, с пересадкой растений и полосатым ковриком. Ей снова хорошо так — в углу. Так что можешь не возвращаться — все равно не вспомню. Когда еще придет письмо — да и придет ли оно таким, чтобы было.

Нельзя же записать каждый свой день, чтобы потом сравнивать, — зачем возвращать прошлое — так. Мы же все равно выпадем каждый в своем. Можно просто жить — живу просто, не смешиваясь ни с кем, как керосин или ртуть.

ПИСЬМО 3

Вот и доказывай после этого, что Бога нет. Вот тебе и стирка в воскресенье. А в понедельник утонула (утопилась?) мышка. Маленькая, серая, с острыми ушками. Наверно, она долго барабанась в ночи и высоко держала мордочку, чтобы не захлебнуться, и все же захлебнулась. Ах, зачем ты не ела веников, зачем ты полезла в унитаз? А мне-то что теперь делать — одинокой, убитой и покинутой.

ПЛАЧ: Да я же ей ничего худого не делала! Да что ж она так взяла и утопилась!

Да, это тебе не паук, выгнанный, но живой. Вот так и чувствуешь себя убивцем...

Здесь прозрачный радостный воздух, живой желтый свет с земли. Там, в Германии, не пошуршишь мимо своего дома прямо к остановке автобуса. Листья как-то сразу осыпались, и хтонические существа — дворники — безжалостно сгребают их в кучи. Ночью у меня тоже много дела — надо ходить и распинывать листья, сгребленные ими в кучи, иначе не будет осени.

А потом приходит лес, и его птицы уносят деревья, длинные их перья — медленный путь паутины, гуси летят на север, море приходит на помощь или лето меняет берега.

Дни такие острые, что когда поднимаешь глаза, то кажутся маятником или деревом-вишней. Крышка кувшина перевернута, горшок

заполнен зерном, ведро воды приготовлено, здесь беда варит свой локоть.

Каникулы для сна, где живет одинокая моль, кот с усами. Бросит высокосный камушек, где каждый читающий — встречный, а встреча почти случайна. А когда вы выйдете из дома, все-таки не выдергите и бросит вам в лицо холодные капли растаявшего снега (вот вам прогноз погоды) и потрется мягким бочком сугроба о щеки.

Лето начинается с прихода мыши — среди зерен пыли в руках у рыб. Так говорят вяленые городские деревья. А все бабочки осенью превращаются в полевых мышей. Так тихо можно рассказать только печаль

Припомнить из твоей попытки соленую небрежность линий, серъезный сон творожный.

И так узнаешь незаметно свою же черствую страницу, и страницу, и эту птицу, кусающую редкие слова, и снова — о правах, о правилах казаться нужным.

Когда и не обида, и не сон, и даже не осколки — сколы тех длинных гор, где год едва прошел, где хочется держаться за перила и с каждым небом думать хорошо, что дождь прошел — не год.

ПИСЬМО 4

А потом вдруг вылезло на свет старое воспоминание, обрадовав своими лохматыми рукавами.

Привыкнув к худеньким смуглым девочкам, удивляясь толстой шерстяной шали на плечах, в руках — лишь хвостик какой-то ветки. Почему-то помнятся очки и что-то хипповское, болтающееся на тонкой веревочке. Запястья спрятаны, но кажется, что на них тоже какие-то фенечки. Колючая, не грубиянка, а ехидна. Любит накручивать волосы на палец и всегда облизывает губы на морозе. Склонность воспринимать ерунду заставляет усомниться в действительности увиденного. Еще один фантом воображения? Тогда откуда этот темный длинный волос на подушке.

Ты стараешься полюбить непрозрачные слова.

«Следующая остановка — пятый угол» — своими ушами в 37 автобусе, уезжая от главпочтамта. Озираюсь. Пассажиры в миноре. Отношу на счет своего воображения и разных слуховых галлюцинаций.

Становится все прозрачнее. Буквы напоминают ползущих в ряд ужей. Что должно быть в конце? Наверное, работа над ошибками.

От входящего в дом остаются одни лишь вокзалы, и почтовые ящики медленны и пусты, потом она пожалеет, осталась ли, не отстала, достанутся только голосу исправленные листы.

Не простишь, молоко приготовлено отъезжающему, как доберешься — позвонишь, нет, позвонишь, что там смущаются проводницы-жалобщицы, все об усталости, жала ждешь, не спиши.

Ось окружности вздрогнет, сдвинется до трамвая, пространство разматывается вдоволь наискосок, телефонная книжница, умница, запятая отойдет, опомнится на каменный волосок.

ПИСЬМО 5

Проворные буквы копошатся, как муравьи в сахаре. Такие приторные слова, что хочется запить газировкой. Могу себе позволить все, а город то ускользает в воду, то обступает со всех сторон, стреляя по окнам из автомата. И тогда лучше всего лечь на пол в ванной, пока не ворвались сквозь дверь. Такие предчувствия забрасывают дальше Рима, и Украина просит о присоединении. Поможем ей и уснем вместе.

Заканчивается месяц прыгучих осенних мошек, сверчков и милитаристской травы. «Мы за мир», — говорю ежику, утаившему вечером огурец.

Отъезжающим машут рукой, махнув рукой на все. Железные крыши соблазняют открытой дверью на чердаки или перекидывают пару веревок через перила. Хорошо не иметь балкона — другой территории кроме дома и огня — маленькая удобная дачка для поселения населения.

Глупые хитрые мыши лезут на дерево за последним листом. Навсегда остается только то, что внутри — решетка сада (черная и кованая), пустая воскресная улица, загородная игра, первый цветущий куст. Уютные желтые крапинки — так котенок обрывает нитку с бумажным плавающим воздухом и уходит во взрослые коты с их мышиными проблемами. И слово «уходить» все больше радуется своему приближению, отказываясь даже от шоколадной обертки. Так проходят все железнодорожные мосты и реки — замораживающие рыб и воздух — опять согласились отпустить длинную песчаную отмель в самую середину. А волшебные слова надулись от обиды —

их так и не позвали — гордясь своим ожиданием и талантом. Время — шуршащее летучее насекомое, жестокрылое и чешуйчатое. Свет становится все добре и мягче. Надо поторопиться и пожелать ему доброго утра — проснуться раньше и разрезать маленькое зеленое яблоко — пополам. Самое хорошее, что можно сделать, — уснуть на минуту позже прихода сна.

Муху кормлю мукой, ондатра или крыса водяная грызет березовую бересту и весело задирает нос. Веник не ест. Змея становится худее и привлекательнее и собирается удрать к медленному морю — плавание давно привлекает ее быстрое тело.

Паук собирает время, чтобы потом вернуть тебе в целости и сохранности каждый час, проведенный здесь. Такие кузнецкие мысли располагаются в квартире. Теперь твоя очередь скучать и описывать бумажные радости и причины их обращения.

ПИСЬМО 6

Ему нравилась такая теплая привилегия — понимать медленно. Он и отпускает. Вся правда остается только в руках, так что и пугать ночные форточки — такие разговорчивые соседи.

Пролетающие дни заполнены атмосферными осадками, и горе тем, кто осмеливается выйти без шапки. Снижается только снег — так выходит второй день ноября, заполняя крыши и белье на балконе. Надоело? Отдохни. Успокой глаза, переверни страницу — там ничего не будет.

Здесь вчера становится длиннее, чем было раньше, вдоль стены пробирается свет, выучив и затвердя. Только знакомый снег снова от дома дальше, чем от зеленого в мелкую крапинку дождя.

Длинный холод заставит выбросить скорлупу и листья, место найдется спрятаться от древесной коры. Ракушка захлопнулась, отражение замораживает лица, подоконник принял за дерево, выпрямились узенькие дворы.

Змеи спрятались, землеройки вырыли норы, камышовые кошки ушли в мышиные уголки. Взгляд притягивает прозрачность воды и холод олова, паук просыпается, оставляет дом, покинув тепло руки.

ПИСЬМО 7

ПИСЬМО 8

Холод — к разрыв-траве, праздность — к скорой дороге, что остается тебе — правильный сон стрижей, несовершенный глагол — к завтрашней недотроге, так спасает зима сказанный день ключей.

Как рассказать о ней — знает о соли море, кто принесет взамен утренний плач имен на берегу перил, праздника, лета, горя, на остановке дна, лучших вестей ее.

Так новогодний лес, лучше — звонки трамвая, где на бегу у слез, там — на виду у всех, первая — не расскажешь — улица неживая твой говорящий дом чай расшифрует смех.

Выберешь сон числа, праздничной — запятые, сонные мухи ждут корма внутри стекла, как тебе здесь жилось — чьи ответы простые — холода, сна, совета — города, зла, тепла.

ПИСЬМО 9

И ограда — всего лишь, чтоб было потом не больно,
не торопливо, не холодно и не лениво,
ожидая прихода лета, ухода, хода,
белого брода, брома, йода —
повязки, бинта — до раны,
до царапины
или до этого бледного неба,
оправдания ждущего от идущего до опозданья,
от невысокого — вниз — вот тебе и награда —
узнавание наперед о лете, поезде и утрате билета,
узнаванье твое — частное растворение —
двери, кофе, сахара, льда в стакане,
перечисление, чье удивление мнимо,
все она знает, к чему бы ни прикасалась, —
это во зло — и зренье ее устанет,
от песка, воды и земли будет ее спасенье
разность взгляда ранит и убывает,
память попутна — попуталась, затупилась —
заступиться сможет, если не отступилась.

Писем нет — одни торопливые звонки — на окраине сознания. А я и не прошу писать, я не жалуюсь. Ну, раз ты не пишешь, — я тебе сегодня писать не буду, а напишу-ка кому-нибудь еще.

ПИСЬМО 10 (не тебе)

Льдинка, Ольга, весна — вот те колючие слова, что просятся на бумагу, а буква г — просто серый гладкий камень на берегу северного моря, острого там нет ничего, только тяжесть и попытка устроиться в ладони.

Календарь обманывает тебя — я пишу сразу же по получении письма. И разгадывать недостающие буквы — такое ночное занятие, что сразу же настает бессонница, чьи большие глаза сродни страху. Морская греческая черепаха — вот что сейчас занимает меня. Подплывая к острову (Родос, Крит, Закинф?), выставляет свою морщинистую голову и пытается спеть нежную песню рассвета. На греческом языке. Помочь могут разве что надписи на кувшинах, но не терракотовые статуэтки. Боги, богини — да и только. Черепаха остается одна, даже дельфины ушли на кратеры и пифосы. А греческая змея может жить только в воде — как ее ужалишь? только ужалеешь ужасно.

А теперь — не плачь, письма идут быстро. Это просто медленные почтовые работники борются за честь принести их тебе. «Гонцу с хорошей вестью — коня да шубу с царского плеча». Есть у тебя шуба с царского плеча, куропатка с царского стола или хотя бы белогорюч-камень?

Вот и дни идут все быстрее. И я гадаю — что это за корова в синей жесткой коробке? Пока случайная знакомая, увидев ее в руках, — не проясняет — символ, маятник, не хватает только валаамского бубенчика на шею — здесь не райские кущи — не заблудится. Ну, что теперь — полюбить Вас так же ответно и бессердечно?

ПИСЬМО 11

Если ты и пишешь мне, то твои письма уходят в какую-то германскую дыру посреди твоей улицы с немецким названием. Россия не печалится и при всей своей безалаберности приносит почту почти вовремя. А однажды ее время оказалось даже семичасовым утром. Кто-то так захотел быть рядом, что не смог справиться с приездом,

поезд — лишь медленная частица времени, беспомощно привозящая его — увеличившись до часа, дня, месяца — и уходящая в бесконечность — туда, где не тает снег и льдистые фигурки хрупки и осторожны. Такие летние забавы так и не приводят жалеющую воду к ее терпеливому концу. Когда кончается это время, все же придется поспешить и вовремя уехать, не желая причинять добра успевшей устать половине.

Ты думаешь, что там, за азиатскими горами — всего лишь пустыня с дремлющим на песке котенком, а вдруг оказалось, что лето бросило меня и вернулось к ее загорелой коже и выгоревшим сарафанам. Всего лишь уцелевшая тростниковая сумбурность — ключ, утонувший в золе и снеге. Такая уж разная жалость. Где бы да где взять для пожеланий влажную и теплую погоду. Это так приятнее думать, что письмо — тебе, на самом деле оно собирается и уходит по другому адресу, даже не жалуясь напоследок.

Продолжение письма (не тебе)

Год движется, колеблется, не знает в растерянности — куда. Оттого-то зима приходит только к тебе. Город качается на невидимой границе дождя и снега, склоняясь больше к туману, а на деревьях, говорят, набухли почки. Ничего не ушло, не собиралось уходить, и это радует больше всего. Долгое и терпеливое — как улыбка издалека. При такой общности словаря всегда бывает достаточно слова, чтобы продолжить взгляд и сократить расстояние, которое, впрочем, продолжает оставаться несущественным.

У вещей появляется жалость к нам, сделавшим и полюбившим их деревянные и шерстяные души. Попробуй тут доказать, что стол — только стол, а не маленькое домашнее существо, заботливо пододвигающее карандаш и бумагу. Время вечернего ежевичного варенья — можно ли доверить почте стеклянную обиженнную хрупкость, лучше приезжай к нему, в холодильнике под окном оно не переворится до следующего лета. И все оттого, что хочется делать смешные и осторожные подарки. Главное — подумать, а уж потом — сбудется, неважно — каким образом.

Как бы не растерять эти круглые буквы, так хорошо не желающие ясности. А край листа все так же заботливо и доверчиво исчезает, переводя карандаш в самостоятельное воздушное существование, убирая все ясности и нужности.

ПИСЬМО 12

Скоро станет дорога к тебе такой же необходимостью, как путь из города — выходя или теряя слово «дорога». Слова рассыпались, перемешались в никогда и обратно.

Шли от вечернего, как это будет, — звучит новоселье, веселье от новости и печаль — недостоверное, что полезное или весеннее — раздумывая — во что бы теперь превратиться.

От зеленого города долго будешь слышать и тратить. В луже ночная луна смывает пыль со стороны обратной. Обрадовав сон стекла, стекает вода живая до вечера, дотемна, до первых холодных трамваев.

Вода замерзшая не превратится в лед, туман — это не снег, память о доме — не спрашивай, ждет только уставший, нетающий лишь идет, вчеращий, громкий, незавершенный, старший.

Время — помеха, шуршанье в печной трубе, сон мышиный в жарком июльском сене, разведи руками — расскажи о себе — вычитание да сложение, письма о дне и лени.

Клубочки ежей впитывают молоко, сон ужей скатывается в низкую реку, «никогда», «всегда», «только теперь» — превращаются в «далеко», листья складываются в кораблики — плыть доверено из варяг греку.

Так вспоминается только длинный утренний сон, за приплывшими следуют ибис, змея, черепаха, признаваясь, сравнивая праздничный край имен от часов, перелетов, дневного неверного страха.

То, что останется, — остается лежать в траве, «я тебя попрошу» превращается в «что тут сделаешь» и «не сумеешь». Голос рыб плавает в Сене, земле, Неве, справедливость — всего лишь то, о чем потом не жалеешь.

И «я люблю» переходит в «легче сказать про себя», и «если бы ты могла» становится помощью и условием повторенья. Существование писем оправдано их приходом после календаря, скажи о себе, оставаясь там, — в начале имени, лета и дня творенья.

Придется стать ящерицей, чтобы уберечь время, сосновые иголки указывают путь — для чего и компас не нужен — дорога сама уведет к зеленой пыльной траве и спелой осенней ежевике. Влажная высокая трава бьет по коленям, роса отпугивает змей, шурша-

щих на светлом речном песке. Утро еще не знает своих границ и выходит погреться на солнышке к норкам и камышинкам.

ПИСЬМО 13 (заключающее)

Взгляду долгой змеи не хочется возвращаться, к холодному молоку еще не привыкли кувшины, и серебристая моль слетается совершающаяся — под облака зимы — половина ее середины.

Крыши устали спорить, водой по утрам обливаться, ждать непременно снега — неприметно и ненадежно — трубы, двери, крылечко — здесь пока оставаться предполагает снова эту смешную возможность.

В гости к мышам приходят хитрые длинные змеи, раскапывают норы, селятся и начинают тихо свистеть — как летом мыши в траве, а зимой — как ветер в трубе. Дни уже не стоят — висят, как скованное мокрое белье на морозе, и снег лежит испуганный и недоверчивый, готовый удрать при малейшей опасности. Ну что тебе делать в этой холодной заплеванной Москве, где даже снег столичный, безразличный, даже не снег, а так — асфальтовое покрытие. Солнечно, ясно и одиноко, поэтому осмеливается прийти и поселиться простуда, и некому ее прогнать. Горшок с медом заметно преуменьшился. Такие зимние страшилки. Наверное, папоротник цветет так же, как и твой декабрист.

Снег приживается, приживляясь прямо к открытой коже, — вживился в живую кору деревьев или руку без перчатки — и начинает врастать в ткань — теперь такие трещенские морозы.

(Что за отправляющие вещества ты держишь в своей аптечке?!)

Трава нечуй-ветер растет зимой по берегам и озерам. Кто обладает этой травой, всегда может остановить ветер на воде. День для сортирования травы — 1 января под Васильев день, в глухую полночь.

Трава блекота делает рыб ручными.

Трава «поцелуй-меня-скорей» — полынь.

Если два человека в полночь обходят комнату кругом и в темноте идут навстречу друг другу, они никогда не встретятся и один из них пропадет.

РОМАШКА РЕЧИ, ДРАКОН ТИШИНЫ

Дракона речи и тишины можно увидеть, можно постигнуть, вдохнуть его след в небе, лишь имея его — дракона — в себе. Не секрет, что драконов, богов и слова мы не столько постигаем, сколько проецируем. Наивный реализм, по-прежнему, продолжает воспринимать зеленый шарик на веревочке вне себя — как реальность, потому что ему он доступен и видим, а дракона с золотым святым, оседлавшим его, — в качестве несуществующей белой кляксы, потому он (человек наивного реализма) пока еще не подозревает о существовании этих крыл и этого золота — в своей душе. Итак, слово, увиденное снаружи, пока оно не родилось у тебя внутри, будет для тебя невидимым.

Поэтому Осип Мандельштам сравнивал непрочитанную книгу с белым холстом, а читателя — с художником, которому этот холст предстоит заполнить. Поэтому, имеющий фигу в душе, увидит ее и в книге, а имеющий уши имеет шанс услышать горний ангелов полет, вернее, возобновить их присутствие во внутренней реальности вместе с писателем.

Когда читаешь книгу Галины Ермошиной, делаешь шаг вперед и два назад. Вперед — по привычке, назад — в поисках ключа и курсса. Каждый, пришедший к этой книге, вероятно, найдет свой собственный ключ, если созрел для этих поисков. Я нашел два.

Первый способ заключается в том, чтобы просто читать, двигаясь вперед на свой страх и риск, осознавая вспышки холодноватых жемчужин речи, сменяемых тихими вибрациями почти тишины. И если вы удержитесь в этом доверии к автору и своему маршруту через одну бесконечную страницу (потому что я ни разу не отметил, чтобы рука перевернула страницу, или что страница завершилась на экране монитора), то начнут происходить разные вещи сначала

с телом, потом с висками, потом с мышечной и темной внутренней глубиной языка, а после начнет артикулировать и видеть видения ваш внутренний художник.

Просто полет по белой целине, как это бывает с аэросанями, взмывающими снежный шлейф на неуловимой скорости. Она неуловима на белой равнине, и поэтому иногда кажется, что сани стоят.

И второй способ и ключ. Я его нашел не сразу, и не сразу разглядел длинноту бородки. Потом вырезы и рельефы совпали, и замок щелкнул.

С самого начала было ясно, что, читая Ермошину, имеешь дело с новым словом, новым его наполнением, окрасом. Оно словно бы и фиксирует предмет, и ты уже готов принять эту вспышку фиксации и идти дальше, но вдруг понимаешь, что что-то здесь не так, что фиксации-то никакой и не было, потому что дальше она не подтверждается, а контакт слова и предмета (означаемого и означающего), носит не прямой, а опосредованный характер. Что слово «вишня», например, говорит не только о вишне, но еще и о том-то, том-то и том-то. О позавчерашнем скрипе двери, скажем. О завтрашнем вкусе пряника. Или о чем-то еще.

Мандорла* — это такое событие, когда одна окружность, вместо того, чтобы пребывать на безразличном расстоянии от другой, приближается к ней и начинает наползать на ее территорию, образуя этим наползанием один общий для двух окружностей фрагмент. И тогда то, что будет происходить на общем фрагменте-мандорле — ну, например, вырастет дерево или проплывет в мутной воде гиппопотам — будет принадлежать сразу обеим окружностям-событиям. Это будет их общее место, общая история. Несмотря на то обстоятельство, что в несовпадающей части одной окружности находится, скажем, история какого-нибудь апельсина-Гольдони, а в другой — марсианский ландшафт. Так вот, эта «общая» история мандорлы не должна вступать в противоречие с необщими историями окружностей — она должна удовлетворить и апельсину-Гольдони, и Аэлите на Марсе. Во всяком случае, слово о гиппопотаме в мутной воде должно откликаться, помнить и выбиривать в ответ на историю о Марсе и историю об апельсине одновременно.

* Составленный из двух неполных окружностей «миндалевидный» нимб. Сияющая, но при этом четко очерченная мандорла является образом таинства, концентрирующееся на идущих изнутри лучах света.

Собственно это же делает наследственность любого ребенка по отношению к его двум родителям.

Но это только начало. Для того чтобы понять, что же приключается со словом в поэтике Ермошиной, давайте представим себе мандорлу — общее место, составленную наползанием не двух окружностей, а скажем, двадцати двух. То есть «общее место» ермошинского слова должно удовлетворять не двум, а двадцати двум историям. Стартует двум. И так далее. Напоминая уже не мандорлу, а ромашку с расходящимися от единого общего кружка лепестками-историями.

До какой поры слово вообще может выдержать это умножение? Не знаю. Знаю, что умножение количества историй, на которые слово способно откликнуться, ведет к тому, что оно становится невесомым, прозрачным, почти фантомным. Его валентность становится безмерной, и с одной стороны это приводит к иллюзии всеоткрытости по отношению к миру и другим словам в мире, а с другой к нарастанию его, слова, прозрачности до той степени, пока она (прозрачность, просветность) не приведет к исчезновению слова. И тогда это будет либо чистый жест вне слова, либо ангельская коммуникация — нота, взгляд, постижение за сверхсветовым барьером скорости. Но тут «литература» кончается. Тут начинается молитва и медитация, обходящиеся, как известно, в высшей своей форме, без слов.

Автор чувствует «стеклянный» порог и обладает умением форсировать или снижать количество вибраций. Центральная часть книги — это сниженные вибрации, это превосходные фрагменты о Китае и Нью-Йорке, великолепное чтение, волшебная акустика. Все эти уложки, крыши, дыхания-выдохи в облаке мягкой эротики разворачиваются лабиринтом, из которого всегда есть выход.

Но ближе к финалу «развеществление» слова вновь набирает силу. Стремление отзываться на все истории мира приводит к внеглесному модусу, к тенденции восточного и дальневосточного развоплощения. Происходит замечательная вещь. Новые слова, памятая о своей недостаточности и небесконечности, начинают искать бесконечного смысла, которого автор и избегает, и к которому не может не подойти вплотную, как к пропасти. Отстаивание первостепенности частностей и самоценности «трещинок» ведет к противлению хоть чему-то всеобщему, понимаемому, как тоталитарность. Но тяга отреагировать на все «трещинки мира» неумолимо (хочет этого авторская речь или не хочет), ведет к Большому смыслу. Соб-

ственno, мебиус, перевернувшись, опять приводит к Логосу, который однажды воплотился.

Поэтому слово ориентировано на парадигму узнаваний-ускользаний. Контактов-отвержений. Самоотрицаний-самооткрытий. Это сталкивающиеся и расходящиеся льдинки, никому не принадлежащие. Ни воде, ни ветру, ни себе (скоро растают). Степень закрытости слова и его открытости варьируется по мере отталкивания или приближения к этому Краю Смысла.

Я много говорю о слове. Потому что действую в плане нашедшегося ключа. Это мой ключ и мои поиски. У вас они могут быть другими. Но это не главное. Главное следует потом, за теорией. Когда начинают отзываться и выбиривать тонкие вещи и пейзажи — вкус чая, побережье Волги, облака в небе и поцелуй на улице. Когда слово осуществляет не само себя, а свое послание, свою весть о прерывистой, пульсирующей, играющей жизни, одной на всей и своей для каждого. Когда твоя радость и твоя боль накладываются на авторский пейзаж души, на дерево, улицу, яблоко, дорогу. Когда интуиция сообщает тебе несомненные вещи, похожие на жемчуг из уха — жемчуг со дна. Про китайского Вермеера и волжского Лао цзы.

Самара, где живет автор, рифмуется с Самаркандом и Самарией, с Сахарой и Амором, с Ра-Волгой и со всем миром, со всеми его историями и смыслами. Она означает — длинное одеяние. Вероятно, то самое, какое было на дальней сестре автора, самаритянке, приведшей однажды к колодцу за водой обыкновенной и шагнувшей, не замутив сланец пространства, в глубины воды живой.

Андрей Тавров

СОДЕРЖАНИЕ

<i>лестницы словаря</i>	9
<i>утраченный алфавит</i>	17
<i>полуденный воздух</i>	47
<i>внутри горизонта</i>	53
<i>на солнечной стороне</i>	61
<i>точка равноденствия</i>	69
<i>способ произнесения</i>	109
<i>на пути к лабиринту</i>	117
<i>внутри зимы</i>	133
<i>внутри персонажа</i>	157
<i>письма по понедельникам. из варяг — грекам</i>	175
<i>Андрей Тавров. Ромашка речи, дракон тишины</i>	187

Литературно-художественное издание

Галина Ермошина

ОКЛИК НЕБЫВШЕГО ВРЕМЕНИ

Редактор *Елена Наливайко*

Художник *Владимир Сулягин*

Корректор *Марина Ляхович*

Компьютерная верстка *Павла Сандомирского*

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*

Редактор *Е.Л. Никифорова*

Художественный редактор *А.С. Глушакова*

Подписано к печати 11.04.2007

Формат 60×90¹/16. Гарнитура Таймс

Печать офсетная

Усл. печ. л. 12,0. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 9,6

Тираж 500 экз. Тип. зак. Заказное

Издательство “Наука”

117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru

www.naukaran.ru

ППП “Типография “Наука”

121099, Москва, Шубинский пер., 6

